

АЛЕКСАНДР
БУШКОВ

◀ НЕПОЗНАННОЕ ▶

ЗЛЫЕ ЧУДЕСА



АЛЕКСАНДР
БУШКОВ

ЗЛЫЕ ЧУДЕСА



Москва
2024

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б94

Иллюстрация на обложке *Владимира Нартова*

Бушков, Александр Александрович.
Б94 Злые чудеса / Александр Бушков. — Москва :
Эксмо, 2024. — 288 с. — (Бушков. Непознанное).

ISBN 978-5-04-195358-4

Летом 1944 года, в перерыве между боями, два разведчика — сибиряк Гриньша Лезных и Коля Бунчук — одновременно запали на смазливую старшину медслужбы Аглаю. Красотка держала горячих парней на приличной дистанции и выбора не делала. Гриньша вскоре открыл, как говорится, второй фронт и начал захаживать к другой молодке. Аглая узнала об этом и устроила скандал. Гриньша решил, что это Коля Бунчук выдал его из ревности, и с кулаками накинулся на товарища. С трудом их тогда разняли.

А утром Бунчуку стало вдруг плохо, его отнесли в госпиталь, где и обнаружили странную розоватую полосу шириной в три пальца, опоясывающую грудь несчастного. Врачи понять не могли, что с ним, и боец вскоре в муках скончался.

К командиру разведроты примчался его приятель — особист Вень Трофимов, сибиряк к слову. Заперся с ним наедине и поведал свою версию случившегося. Хорошо, что не при свидетелях. Честное слово, упекли бы обоих в сумасшедший дом...

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Бушков А. А., 2023
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024

ISBN 978-5-04-195358-4

И я стою на дороге, и вижу призрак,
и меня мучит вопрос,
которого мне вовек не решить...

Джеймс Олдридж.

Последний взгляд

ГУЛЛИВЕР-1944

Ситуацию, в которой наша дивизия оказалась, нет нужды прилежно описывать своими словами. До меня, к писательству никакого отношения не имеющего, чуть ли не сорок лет назад прекрасно описал Эммануил Казакевич в повести «Звезда». Причем, что очень важно, тут в основе — сугубо личные впечатления. Казакевич служил в разведке как раз нашей армии и описывал то, чему сам был свидетелем. Не скажу, что он описал именно нашу дивизию, были некоторые отличия, но все равно, мы оказались в чертовски схожем положении. Примерно так все и обстояло...

(Примечание автора. Хотя некоторые меня порой поругивают за обширные отступления, не удержусь и на сей раз. В конце концов, «каждый пишет, как он слышит». Одним словом, Казакевича я давно читаю и люблю, так что моему собеседнику незачем было доставать книгу с полки — у меня в библиотеке они все наличествуют. К сожалению, выросли поколения, для которых Отечественная — нечто из древней истории, а писателя Казакевича, увы, стали подзабывать, что не есть здорово...)

Итак, Эммануил Казакевич, начальные абзацы повести «Звезда».

«Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее.

То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В затерянных среди лесов хуторах застряли санитарные автобусы. На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота, одна-одинешенька, все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неувереннее, и, воспользовавшись этим, немцы вышли из-под удара и поспешно убрлись на запад.

Противник исчез».

Вот примерно так с нашей дивизией и обстояло. Противник улетучился в совершенную неизвестность, и что там, впереди, кто там впереди — никто представления не имел. Авиаразведка, как порой случалось, ничем помочь не смогла. Ни у кого из командования, понятно, не было ни малейшей растерянности: а для чего на свете мы, бравая разведка? Да для этого самого...

В глубокий поиск вышли впятером — лейтенант и мы четверо. Все воевали не первый год, в разведку попали не вчера, так что были, скромненько скажу, матерые и битые. Не первый раз этак вот хаживали и дело знали четко.

Вышли за несколько часов до темноты. Двигались сторожко, привычным походным порядком: двое бок о бок впереди в качестве боевого охранения, а метрах в двадцати остальные, волчьей цепочкой. Шли исключительно лесом, подальше от проселочных дорог — для пушей надежности. Не впервые оказывались в чащобе, так что нисколько в ней не терялись. Компасы, разумеется, имелись, целых два — и довоенные карты. К великому сожалению, расположение противника на ней, понятно, не отмечено, откуда бы таким данным взяться? Но ориентироваться на местности могли, и то хлеб...

Разбросанные там и сям в глухомани хутора тоже были на карте не отмечены. На один такой мы примерно через часок и вышли. Небольшой был хуторок, вряд ли особо зажиточный. Издали было ясно, что там жили: дым из трубы шел, собака побреживала (нас она, конечно, не учуяла, не те мы были ребята, умели грамотно и скрытно к жилью подобраться). Ну что? Понаблюдали мы за хуторком из-за деревьев и пошли себе дальше, а что еще оставалось делать? Немцев там явно не было, а про то, где они имеют честь располагаться, хуторяне наверняка знали не больше нас, так что не было смысла светиться и расспрашивать. Пошли себе дальше, тем же порядком, разве что время от времени меняли боевое охранение — моментально, кто кого сменяет, лейтенант заранее проработал.

До темноты мы успели отмахать приличный кусок дороги, совершенно безлюдной чащобы, не встретив ни единой живой души, даже леших (которые нам и так в жизни не попадались). Ну а потом устроились на ночлег в подходящем месте, поужинали сухпай-

ком и подремали при выставленном часовом. Огня, разумеется, не зажигали — только распоследний лопух в таких обстоятельствах разжег бы костер, который ночью за версту видно.

Едва рассвело, тронулись в путь. По весеннему времени было, конечно, зябковато, но не так уж и сыро — хотя вокруг та самая весенняя распутица, в лесу всегда гораздо суше, чем на открытых пространствах, вода уходит в толстый ковер слежавшихся прошлогодних листьев, в мох.

Прошли еще немного, все так же в безопасной тишине, а потом авангард наш слаженно остановился как вкопанный. Мы насторожились, автоматы перехватили поудобнее, но они остались на месте, не сделали ни малейшей попытки укрыться за деревьями, а там от сердца окончательно отлегло: Костыль (это не прозвище, вот такая была у него фамилия, над которой давно шутить перестали) поднял руку и поводил ладонью вправо-влево, причем не разжимая пальцев, держа их сжатыми (и большой к ладони прижат).

Всевозможные условные жесты давно были у нас проработаны. Этот означал: впереди что-то есть. Именно «что-то», не «кто-то», причем вроде бы не представляющее прямой опасности — на войне частенько приходится употреблять «вроде бы», черт его маму знает, чем оно окажется при ближайшем рассмотрении...

Мы к ним живенько подтянулись, встали бок о бок. Костыль доложил кратенько, но исчерпывающе — он это хорошо умел, как все мы. Получалось следующее. Впереди метрах в пятидесяти располагалась поросшая кустарником обширная прогалина (мы ее и сами уже видели). И только что

на ней имело место любопытное явление. Там на глазах Костыля и Шемахтина вдруг зажглось не зажглось, появилось не проявилось... Одним словом, объявилось, так оно будет вернее. Объявилось непонятное, тускло-лимонного цвета и словно бы с вкраплениями алых точек тускловатое как бы сияние, невысокое, ростом человеку, пожалуй, по пояс, очень правильной формы, напоминавшей словно бы линзу. (Костыль до войны работал на оптико-механическом заводе, всевозможных линз насмотрелся, вот ему в первую голову и пришло именно такое сравнение.) Шириной метров десять, окутало конкретные кусты (вон тот, и тот, и еще тот). Несколько секунд так постояло, а потом исчезло с глаз, будто свечу задули...

Мы все смотрели туда — но там ровным счетом ничего не происходило, поляна как поляна, кусты как кусты. Переглянулись. Кто пожал плечами, кто нет (я пожал). Вслух не было произнесено ни словечка, но и нужды в том не было: все пятеро, люди повоевавшие, наверняка пришли к выводу — это не взрыв. Взрыв, как бы это сказать, всегда распространяется из одной точки. И бесшумным никогда не бывает. Полыхни там что-то пиротехническое, зажигательное или осветительное, всё, сказал Костыль сразу, выглядело совершенно бы иначе. А это тусклое сияние больше всего походило на свет огромной лампы, которую включили на несколько секунд и быстренько выключили. Не взрыв, не осветительная ракета, не луч прожектора — откуда тут взяться лампе, да и луч прожектора выглядит совершенно иначе. Насквозь непонятное что-то.

Особенно не раздумывая, лейтенант распорядился:

— Вперед, осторожненько...

И. был глубоко прав: что-что, а непонятное никак не годится оставлять в тылу, не рассмотрев как следует... Мы двинулись к тому месту, чуток пригибаясь, на всякий случай изготавив автоматы. Только ничегошеньки непонятного там не было: поляна и кусты, и никакого сияния, ни яркого, ни тускловатого.

А потом мы увидели такое, что дыхание в зобу спирало и челюсть отвисала...

Сначала я расскажу, как оно все выглядело, а потом добавлю кое-какие подробности — так оно выйдет гораздо эффектнее...

На относительно небольшом пространстве, окруженном кустами, лежало дюжины три мертвецов и четыре убитых лошади. Трупы в самых разнообразных положениях, чаще всего выглядевших как-то нелепо — как оно обычно и бывает, мы с таким зрелищем давно свыклись. Судя по тому, что кровь еще не везде высохла, на поляне совсем недавно состоялась ожесточенная драка. Никто не шевелился, раненых не было — вполне возможно, победители своих унесли, а вражеских, очень может быть, добили. Такое на любой войне не в редкость.

Мне не понадобилось и минуты, чтобы в деталях все рассмотреть. Я как-никак был опытным разведчиком, в разведке нечего делать людям ненаблюдательным, тем, кто не умеет одним махом охватить всю картинку и с ходу обдумать свои соображения по поводу увиденного.

Нешуточная странность была такая. Все они были обмундированы и вооружены совершенно несовершенным образом. В длинных кольчугах и тускло

поблескивающих, явно металлических шлемах двух видов. У одних круглые, у других остроконечные, с высоким шпильком, на котором присобачен узкий синий вымпел, а впереди приделаны целиком закрывающие лицо забрала с прорезями для глаз и ноздрей. Ничего похожего на огнестрельное оружие я не увидел — только копья, мечи и широкие топоры на длинных прямых топорищах.

С ходу можно было примерно сообразить, что здесь совсем недавно произошло: «круглые» ехали верхом, а «забрала» из засады обстреляли их из луков, а потом сошлись врукопашную с уцелевшими. Мертвых «забрал» было раза в три меньше. Многие из «круглых» были прямо-таки утыканы стрелами, и в коней попало в каждого по несколько. Самих луков нигде не видно, но колчаны со стрелами висят на поясах только у «забрал». Точно, устроили засаду, угостили стрелами и людей, и коней (вообще лошадь слаба на рану, достаточно одной-единственной пули, пусть даже не в жизненно важные органы, чтобы она завалилась).

Такое оружие и такие доспехи вышли из употребления сотни лет назад — самое настоящее Средневековье. Вот только ни таких шлемов, ни такого фасона кольчуг я раньше не видел ни на одной картинке ни в учебнике истории, ни в исторических книжках. Но откуда они, я и теперь не берусь определить, я никакой не историк, слишком мало все же видел этих картинок и никак не могу сказать с уверенностью, чье именно оружие, чьи доспехи. Их столько было, самых разных, по всему свету. Сущее Средневековье, вот и все, что приходило на ум...

Но это была не самая главная диковина. Самая главная — размеры!

Мертвецы были сантиметров пятнадцать ростом, или даже пониже — мертвец всегда кажется длиннее, чем при жизни. Соответственно, и оружие у них крохотное, под стать лилипутикам.

Вот такие дела...

Таким крохотулькам просто неоткуда было взяться — но они лежали в самых неожиданных позах, мертвее мертвого, иные в разрубленных кольчугах, а один и вовсе с жутко разрубленным лицом. Мечом такого не сделаешь, разве что топором. И кровь была самая натуральная, красная, впрочем, как ей сейчас и полагается, уже темно-багровая, подсыхающая...

Не знаю уж, что там творилось в голове у Костыля, но он, не сводя глаз с мертвецов, сломал с куста веточку, медленно присел на корточки и потыкал одного покойника в бок. Выпрямился, отшвырнул веточку, растерянно протянул:

— Настоящий... Твердый...

Я тоже присел на корточки. Очень меня заинтересовал один конкретный покойник. К бабке не ходи, какой-то ихний начальник: только у него одного на кольчуге, на груди протянулась рядочком три больших (ну относительно его размеров) бляхи с изображением какой-то оскаленной зверюги. И меч у него был гораздо роскошнее, чем у всех остальных, — узкое лезвие длиной со спичку покрыто узорами наподобие булатных, рукоять-крестовина золотистого цвета, такое впечатление, то ли позолоченная, то ли вовсе золотая (скорее уж позолоченная, будь она литая из золота, меч оказался бы слишком тяжелым

для боевого оружия). Там, где рукоять держат, она была чистой, словно бы рифленой, а все остальное усыпано крохотными разноцветными камешками, красными и синими. В навершии рукояти вовсе уж большой (по сравнению с остальными) зеленый камень, с кедровый орех величиной, не граненый, а словно бы шлифованный, продолговатый.

Очень мне этот меч глянулся, и я взял его двумя пальцами, выпрямившись, тщательно завернул в свой порядком измызганный носовой платок, спрятал в карман. Все это видели, но никто мне ничего не сказал, и лейтенант ни словечком не воспрепятствовал.

Лейтенант и опаматовался первым, словно проснулся или очнулся от забытья. Окинул нас бешеным взглядом и рявкнул шепотом:

— Как стоите, мать вашу?!

Тут и мы малость очухались. В самом деле, хороши разведчики на территории, где немцев можно встретить в любой момент: начисто позабыли о бдительности, не обращали ни малейшего внимания на окружающее, оторопело пялились на эту диковину. Один-единственный вражина, притаись он за ближайшим деревом, мог бы нас пятерых вмиг срезать одной длинной очередью.

Спохватились, ага. Развернулись к лесу, целя в разные стороны из автоматов, что было откровенно глупо, вокруг стояла покойная тишина, нарушавшаяся лишь беззаботным щебетом лесных птиц. Что нам позволяло безошибочно определить: мы в полной безопасности, если птички так заливаются, человека поблизости нет. Смущенно переглядываясь, опустили оружие, повесили на плечи. Лейтенант

как вскипел, так быстренько и отошел. Должен был понимать, что мы ни в чем не виноваты, вся вина лежит исключительно на нем: он тут командир, он и должен был выставить кого-то часовым. Но мы, конечно же, промолчали — командира упрекать не положено, да и уважали мы его...

Злясь не на нас, а словно бы на самого себя, он распорядился уже прежним тоном:

— Продолжать движение прежним порядком!

Ну, мы и двинулись по лесу прежним порядком. А что еще прикажете делать? Мы вышли в разведпоиск неизвестной глубины, у нас было ясное и четкое конкретное задание. Об оставшейся за спиной диковине мы не говорили, мы вообще ни о чем не говорили — обсуждать было нечего, пока что не попало ничего, имевшего отношение к заданию, а отвлекаться на посторонние темы не стоило, мы не на скучном долгом марше.

Свою репутацию мы подтвердили часа через полтора. Лес поредел, это было даже не редколесье, а обширные пространства без единого деревца с узенькой медленной речушкой. И там, за речушкой, лихорадочно окапывались немцы — не менее двух рот, вгрызались в землю, как кроты-стахановцы, комья так и летели из-под саперных лопаток. Судя по всему, народ был битый, воевавший, прекрасно понимали, как важно для пехоты быстренько окопаться, и лучше во весь рост, пока поблизости нет противника. Справа и слева, насколько хватало взгляда, происходило то же самое. Сразу видно было, что немцы здесь собираются встать в серьезную оборону: в одном месте стояли три «Пантеры», в другом — громадные шестиколесные грузовики с при-

цепленными орудиями, подъезжали еще груженные чем-то машины...

Наблюдали мы за ними, укрываясь за деревьями, минут пять, не больше. После чего пустились в обратный путь с чистой совестью и осознанием исполненного долга. За чем нас посылали, то мы и выполнили в точности: установили, где противник и чем он занят, прикинули его примерную численность, количество и виды техники. Смысла не было надолго там задерживаться, тем более брать «языка», все и так ясно. Понадобится «язык», еще раз сходим, дело знакомое...

Обратно шагали уже не так сторожко, знали, что немцев тут нет, хотя, конечно, не расслаблялись полностью. В хорошем темпе отмахали немалый кусок, на привал остановились перекусить и отдохнуть, когда до нашего расположения оставалось километра два. Когда подзаправились и устроили перекур, тут как-то сам собой и встал вопрос о том диковинном зрелище. Правда, мы не обсуждали увиденное и не гадали, что оно такое. Ребята попросили показать меч, и я достал свернутый комом платок. Меч никуда не делся. Двое его осмотрели с любопытством, двое без особого интереса. На повестке дня стоял единственный вопрос: как о лилипутских трупах на поляне докладывать начальству и, вообще, стоит ли докладывать?

После короткого, ничуть не шумного обсуждения порешили: докладывать не стоит и рассказывать никому не стоит. Все равно сочтут фантазерами и записными вралями, а такой репутации у нас прежде не было, и мы ее себе зарабатывать никак не желали. Лейтенант сказал толковую вещь: сам по себе меч —

никакое не доказательство. Мало ли зачем какой-нибудь ювелир мог сделать такую крохотную безделушку, и мало ли кто мог ее в лесу потерять. Я и теперь считаю, что он был глубоко прав. Никакое это не доказательство...

На том дело и кончилось. Смело можно сказать, на том и заглохло. Никому больше мы об увиденном не рассказывали, меч не показывали и меж собой больше об этом никогда не говорили. А смысл? Никто не брался гадать, откуда они взялись такие и что с ними было потом, куда подевались. Я так думаю, если они не исчезли так же загадочно, как появились неведомо откуда, их попросту растащило на пропитание мелкое лесное зверье...

Вообще, к лилипутам у меня до войны был свой интерес. Еще в третьем классе прочитал «Приключения Гулливера» — как я потом впоследствии понял, облегченный, детский вариант (а лет через десять после войны попался и взрослый). А за несколько лет до войны вышел сказочный фильм «Новый Гулливер». Это не экранизация Свифта, там другой, совершенно свой сюжет, но мультипликационные лилипуты там просто роскошные. Пацанами мы на него раза четыре ходили, в разные кинотеатры. Часом, не видели? Ага, согласитесь, интересное кино?

Долго меч, завернутый в нестираный платок, лежал у меня в вещмешке. Одно время подумал довольно лениво: вот доживу до конца войны, пойду учиться на научного работника, как собирался после выпускного (только на другой день после выпускного Молотов сказал по радио «Война!», и все мирные планы полетели к черту), а там, чем черт не шутит, попадется какой-нибудь ученый, который мне пове-

рит. Правда, так и не смог сообразить, какой именно ученый мне нужен, какой специальности. Я и сейчас не могу этого сообразить...

А весной сорок пятого я своего вещмешка лишился во время Висло-Одерской операции. На Одере нам пришлось тяжеленько, да... При бомбежке прямым попаданием накрыло полуторку с нашими пожитками (там, на Одере, остались и лейтенант с Костылем).

Так что остался я без меча с рукоятью в самоцветах — уж наверняка это были самоцветы, а не простое стекло. И нисколечко об этой потере не жалел, ни тогда, ни теперь. Лейтенант был совершенно прав, я думаю: сам по себе меч — никакое не доказательство...

АФРИКАНСКИЙ ЗВЕРЬ НОСОРОГ

Наш воинский эшелон с танками на платформах и четырьмя теплушками для личного состава был окружен строгой секретностью.

Собственно говоря, все военные перевозки — дело секретное. Независимо от груза. Даже если эшелон везет исключительно сапоги, саперные лопатки и фляги, чем он загружен, посторонним знать категорически не полагается. Усиленная секретность соблюдается, когда идут чисто военные грузы. А уж когда речь идет о составах вроде нашего, везущих самую новейшую военную технику, причем впервые...

Впервые на фронт перебрасывали тяжелые танки ИС, «Иосиф Сталин». Великолепная была машина, дралась на равных с самыми тяжелыми немецкими «тиграми», а зверье помельче вроде «пантер» вообще давила, будто волкодав кошку. К тому времени заводы произвели их достаточно, и, не разбрасывая подразделениями по разным частям, Верховное главнокомандование создало отдельный полк тяжелых танков, куда я и попал вместе с десятком экипажей моего прежнего полка. Разумеется, всех нас добро-совестно переучили на новую технику.

Мы, младшие офицеры (да и офицеры постарше званиями), о конкретных планах Верховного командования знали ровненько столько же, сколько об условиях жизни на Марсе (и наличии либо отсутствии таковой — никто тогда представления не имел, как на Марсе обстоят дела). Однако воевали мы не первый год и кое в чем разбирались прекрасно...

Концентрация танков в прифронтовой полосе — вернейший признак грядущего наступления. Ну а когда перебрасывают полк новейших тяжелых танков, каких в Красной армии прежде не было... Какая там оборона! После Орловско-Курской операции (широко известной как Курская дуга) немцы уже ни разу за всю войну не провели ни одного серьезного наступления. Отходили, конечно, с жестокими боями, кое-где и с контратаками, при малейшей возможности вставляли в оборону, но факт остается фактом: наступали только мы, а они отступали. Ясно было даже ежу: наш новорожденный полк пойдет по направлению главного удара в каком-то серьезном наступлении или, как тогда говорили и писали, очередного сталинского удара (после Отечественной ее историю излагали как десять сталинских ударов, справедливо или нет — дело десятое).

Танки, как полагается, были тщательно укрыты брезентом — но на сей раз на каждой платформе находился не один часовой, а двое, в противоположных концах. Нашему эшелону (и следовавшим за ним другим эшелонам полка) давали «зеленую улицу», так что он шел без остановок. Ну а на случай непредвиденной, не зависящей от железнодорожников, остановки меры безопасности были расписаны заранее, одни и те же что для чистого поля, что для станции.

Вот такая непредвиденная остановка и случилась на довольно крупной станции. В чем дело, мы узнали очень быстро: где-то впереди оказались повреждены пути (о причинах нас не поставили в известность, но, судя по некоторым обмолвкам коменданта станции, речь шла о диверсии, возможно, имевшей отношение к нашему конкретно эшелону, но это вряд ли — поврежденными оказались только два рельса, что нас не должно было задержать надолго, торчать тут нам предстояло не больше часа).

Остановили нас не на самой станции, не поблизости от вокзала, а где-то на ее краешке, явно умышленно, чтобы свести до минимума количество нежелательных зрителей. И тут же вступили в действие те самые заранее продуманные меры безопасности — у каждой платформы с обеих сторон выставили по трое часовых. Может, это и был перехлест, но приказы не обсуждаются, а исполняются...

Мы с моим ротным Ромой Клименко (я тогда был командиром взвода) отошли чуть от теплушки, чтобы без лишних ушей кое-что обсудить. На повестке дня стоял один-единственный животрепещущий вопрос... Как показывал жизненный опыт, на такой крупной станции всегда сыщется у вокзала импровизированный базарчик, где гражданские продают-меняют всякую всячину. Торговля, конечно, по военному времени скудная, но уж самогон-то из-под полы всегда найдется — как самый ходкий, что уж там, у военных покупателей товар. Вот мы и планировали небольшую операцию по раздобытию огненной воды. Такие уж у нас были насквозь приземленные планы, далекие от высоких материй. Что поделывать, на войне как-то не до высоких материй... Гораздо прозаичнее все обстоит.

Конечно, мы не собирались идти на станцию сами — офицеры мы или уже где? Была у нас в экипажах парочка, обтекаемо говоря, доверенных лиц для деликатных поручений. Ребятки эти раздобыли бы огненную воду и за Полярным кругом у белых медведей, ну а здесь, посреди, можно сказать, цивилизации, справились бы в два счета. Денег у нас не было, ну да на войне деньги не всегда и в ходу. Дать им с собой американской тушенки, пару пачек махорки — и справятся в лучшем виде. Непременно и себя не забудут, это уж к бабке не ходи, но на это следовало закрыть глаза, потому что меру свою ребята знают туго, как и мы...

Тут-то оно все и произошло — правда, слово «произошло» я стал употреблять гораздо позже, тогда и понятия не имел, что оно «произошло», ни сном ни духом...

— Смотри-ка, — сказал Рома. — А ведь там точно непорядок...

Я присмотрелся. Действительно, с первого взгляда ясно, что за три платформы от нашей теплушки явно имел место непорядок. Один из трех часовых отошел чуть подальше, заступил дорогу «танкисту» (как звали тогда безногих инвалидов на самодельных тележках), а тот, судя по направлению движения, держал курс со стороны паровоза в нашу сторону.

«Танкистов» тогда было немало, везде могли встретиться. Никак нельзя сказать, что иные из них откровенно побирались, руку, как нищие у церкви, не протягивали и вещи своими именами не называли, но держались так, что сразу становилось ясно, что ему от тебя нужно. Мы, военные, им часто подавали, главным образом продуктами — со всем уважением к отвоевавшимся. От воинских эшелон-

нов их, в общем, не гнали, но наш-то эшелон был особенный, к которому не полагалось и родную мать допускать. А этот «танкист», издали видно, оказался особенно настырный, махал руками, качал права, слышно было, как бранится с матами-перематами, а часовой, молодец, голоса не повышая, отвечает негромко, но непреклонно. У часового для таких случаев есть волшебное слово «Не положено». Вот только «танкист» волшебных слов слушать не желает, прет буром — прекрасно знает, стервец, что отношение к нему чуточку иное, чем к здоровому, за шкирку не схватишь и коленкой под зад не поддашь, чем и пользуется...

Очень похоже, разговор у них — если только эту откровенную перебранку можно было назвать разговором — затягивается. Не поленился же, черт, перетянуться сюда от вокзала, а ведь не ближний свет.

В конце концов Роман досадливо поморщился, сказал решительно, хоть и с явной неохотой:

— Пойдем-ка туда, что ли? Как ближайшие к месту действия офицеры. А то Гриша, чует мое сердце, так и будет пурхаться...

Гриша Ляпин, заступивший дорогу незваному гостю, был молодой, воевал без году неделя — и, как мне показалось, перед «танкистом» чуточку робел, несмотря на свое исключительное положение часового. Иные беззастенчивые «танкисты» такую робость просекали моментально и всю ее пользовались. Вот и этот, есть подозрения, из таких...

Еще подходя неторопливо, я этого персонажа рассмотрел хорошо, а учитывая последующие события, в память мне эта личность впечаталась намертво. Классический, можно сказать, «танкист» — самодельная деревянная тележка с четырьмя большими

подшипниками вместо колес — где бы он в войну раздобыл настоящую фабричную «инвалидку»? Подшипники приделаны на совесть, торцы осей прикрыты железными дисками, иначе бы моментально свалились. То ли помог кто-то, то ли сам такой мастеровитый. Раскатывает, упирая в землю две корявые деревянные подпорки, грубо вытесанные. Одет в галифе, обрезанные, с зашитыми снизу штанинами и линялую гимнастерку, там и сям зашитую разными нитками. Физиономия явно славянская, широкая, небритая, определенно пропитая — ну и я, очень может быть, выглядел бы не лучше, если бы вернулся к Насте вот таким, пусть даже она меня и не бросила бы, — а ведь по-всякому случалось. Может, и я вот так запивался бы...

Сколько ему было годочков, определить трудно. Судя по морщинам и залысинам, все полсотни. А учитывая все его невзгоды, безноготь и питье — очень может оказаться, лет на двадцать поменьше...

Вылинявшая его гимнастерка была старого образца, с отложным воротником. Потускневший гвардейский знак, как положено, справа, но привинчен косо. Слева три медали на замызганных, потерявших всякий цвет ленточках — «За отвагу», «За боевые заслуги», «XX лет РККА». Последняя вовсе не означала, что он прослужил двадцать лет — ее в свое время давали отличникам боевой и политической подготовки, тем, кто был у начальства на хорошем счету. У Романа тоже висела такая — он, в отличие от меня, был кадровым, училище закончил в тридцать седьмом и послужить до войны успел. Разве что у Романа медаль висела на ленточке нового образца, а у «танкиста» все три на старых, маленьких, прямоугольных.

Вот такой был персонаж, ничем не отличавшийся от других, которых мне довелось видеть. Вот только глаза у него были примечательные: колющие, пронизательные и словно бы глубокие, ни следа мутной пьяной ословелости, хотя, конечно же, сразу видно, что пьет как следует и систематически...

Никак не походило, что Рома собирается обострять — он спросил достаточно шутивым тоном:

— Что за шум, а драки нет?

Гриша ответил ничуть не шутиво:

— Да вот, товарищ капитан, ни в какую слов не понимает... Толкую ему, что не положено, а он уперся — пропусти его к теплушкам, и точка. Не положено же...

— Видишь, браток, не положено, — сказал Рома, чуть разведя руками. — Часовой — лицо неприкосновенное, понимать должен...

— Сколько я здесь разъезжаю, никогда от воинских эшелонов не гнали... — пробурчал «танкист».

— А от нашего положено гнать, — сказал Рома с величайшим терпением. — Такой уж эшелон. Они, браток, разные бывают, сам должен знать. Глядя по медали, кадровый.

— Был кадровый, а теперь никакой... А вы кто же будете, товарищи военные? Командиры или так, вроде меня, выше комода¹ не взлетевшего? Я при погонах не служил, когда погоны ввели, рассекал уже на этом «танке»...

Точно, придуривался, обормот. Не мог не слышать, как Гриша только что назвал Рому капитаном. Думаю, Рома подумал то же самое.

¹ Комод — фамильярное сокращение «комотд» (командир отделения).

Но сказал как ни в чем не бывало:

— Командир роты и командир взвода. Если так уж интересно, капитан и старший лейтенант.

— Простите великодушно, товарищи командиры, сразу не признал, — сказал «танкист» без малейшего смущения. — Говорю же, при погонах уже не служивал, — и широко ухмыльнулся. — А затейливо оно получается — у меня батя в Гражданскую у Щаденко тучу золотопогонников порубал, а теперь их опять ввели... Товарищу Сталину, конечно, виднее...

И он как-то сразу стал мне неприятен. Потому что, кося под простачка, на самом деле немного над нами издевался. Вообще поглядывал с некоторым превосходством, а это было неправильно. Одно дело для такого вот — разоряться в тылу перед гражданскими, вопя (как я слышал пару раз от других подобных «танкистов») что-то вроде: «Я за вас кровь проливал! Я за вас ноженьки отдал!» И совсем другое — вытяпываться перед фронтовиками. В конце концов, для него, пусть и оставшегося безногим, война уже кончилась, а для нас ей конца-краю не видно. Свободно можно ожидать, что нам прилетит еще похуже, и не останется от тебя даже паршивенького невысоконького обелиска из неструганых досок с фанерной звездой, часто крашенной даже не суриком за нехваткой такового, а чем-нибудь вроде разведенной марганцовки — то есть до первого дождика. Нет, я и в обращении с гражданскими такого поведения не оправдываю, им тоже приходится несладко, работают на износ, да и что бы делал фронт без тыла? Просто, как бы тебя ни приложило, меру надо знать, я думаю, не считать, будто весь мир тебе обязан...

Я покосился на Рому — судя по всему, у него появились примерно те же мысли, резко переменив-

шие к «танкисту» отношение. А тот как ни в чем не бывало тянул:

— Да что там такого секретного, товарищ командир, в тех теплушках? Покурил бы с людьми, про жизнь и про войну поговорил, смотришь, и погадал...

И замолчал, словно ненароком сболтнул лишнего. Рома встрепнулся и спросил с явной насмешкой:

— Погадал? Что-то не похож ты, браток, на цыганку. Не похож, хоть ты меня зарежь...

— Конечно, я не цыганка, — проворчал «танкист». — Не так выразился, что ли. Не гадание, а что-то вроде. Вот посмотрю так на человека — и точно скажу, что с ним будет. Бабушка у меня умела, научила...

— Ах, вот оно что, — сказал Рома не без насмешки. — И как, верят?

— А чего ж не верить, если все так и получается? Я тут давно прижился, сначала не верили, а потом пришлось. Только оттого, что поверили, получилось еще хуже. Стали побаиваться меня просить. Получается ведь не одно хорошее... Вот и приходится к эшелонам...

— Кого только на войне ни встретишь... — сказал Рома все так же насмешливо. — А мне не погадаешь?! Что там меня ждет и что со мной будет?

— Если хотите, так я могу...

— Вот и давай.

Его взгляд моментально изменился, стал совершенно другим. Не могу и сегодня описать, в чем было дело, не могу подыскать нужных слов... Этаким прицельный прищур, что ли, ничуть не вязавшийся со всем его обликом, словно возник совершенно другой человек. И я откуда-то знал одно: никак не хотелось бы мне, чтобы на меня смотрели так...

И тут же это прошло, он вновь стал прежним. Пробурчал:

— Значит, так, командир. Погубит тебя африканский зверь носорог. Вот так я вижу, а поточнее и не знаю, как сказать...

Рома рассмеялся — на сей раз искренне, без следа насмешки. Я тоже не удержался, фыркнул громко — очень уж нелепо это прозвучало.

— Ну, спасибо, распотешил, — сказал Рома. — В зоопарке, что ли, клетку сломает? Какие на войне зоопарки... Может, меня еще африканский зверь слон затопчет по пьянке?

— Насчет слона не знаю, а насчет носорога точно...

— Значит, постараюсь в Африку не ездить, — сказал Рома. — Помню детский стишок: не ходите, дети, в Африку гулять... Ладно, поговорили. Не вижу смысла и дальше с тобой ляссы точить...

Он цепко, многозначительно глянул на меня, и я опять-таки прекрасно понял ход его мыслей.

«Танкист» этот превосходно мог оказаться немецким агентом, наблюдавшим за воинскими железнодорожными перевозками. Со шпиономанией это не имело ничего общего: прекрасно известно, что агентов таких немцы вовсю используют, замаскированных под самых обычных людей так, что с ходу ни за что не разоблачишь. Куда там заслуженному артисту СССР...

Безногих видеть не приходилось, а с безруким сам столкнулся два месяца назад, незадолго перед тем, как нас отправили в тыл на переучивание. Стояли мы тогда в одном городке. Городок был маленький, а вот железнодорожный узел крупный, покрупнее того, на котором мы сейчас находились. Наш экипаж как раз

и попал на постой в домик к однорукому. Левую руку потерял на Донском фронте, как он очень быстро рассказал. Симпатичный такой мужик, внушающий расположение — пьющий, но не запойный, руководил маленькой инвалидной артелью, на пиджаке орден Красной Звезды и три медали — и ленточки вовсе не замызганы, как у этого вот «танкиста», аккуратно содержатся.

Три раза мы с ним сживали за выпивкой, мы немного рассказывали о своих фронтовых буднях, он о своих. На этих рассказах он и погорел. Боже упаси, он нам не задавал никаких вопросов, вызвавших бы подозрения. Тут другое. Башнер у меня воевал как раз на Донском фронте и после первых же посиделок за бутылкой отметил некоторые несообразности, мелкие, но целой пригоршней. И во второй раз, и в третий. Выходило, что сам этот однорукий на Донском фронте не был, знания у него были чисто теоретические. Башнер насторожился, сам стал подкидывать абсолютно невинные на первый взгляд вопросы-ловушки и окончательно уверился, что дело нечисто, в конце концов, не обсуждая это с нами, пошел к особистам. Отец у него долго служил в ОГПУ, а потом и в НКВД, так что задел получился соответствующий. Башнер говорил потом: даже если оказалось бы, что однорукий всего-навсего аферист, выдумавший себе фронтовую биографию и присвоивший чужие награды (а такие штукарки попадались), его все равно следовало взять за кислород, чтобы другим неповадно было.

Оказалось, похуже афериста. Через неделю особисты все точно установили. На фронте он и дня не был, происходил из немцев Поволжья, а руку потерял еще двадцать лет назад в результате несчаст-

ного случая. Советскую власть потаенно терпеть не мог — папаша у него, зажиточный немец-колонист, в Гражданскую лишился немаленького хозяйства, вот сына и настропалил. Когда немцы пришли в те места, сам к ним заявился — он, понимаете ли, готов бороться с большевиками как угодно и где угодно.

Ну немцы его и пристроили к делу, историю калек-фронтовика мастерски слепили, документы смастерили безупречные, дали награды, взятые у наших убитых. Сам он ничего не вынюхивал и не высматривал — у него было целых три агента, работавших на железнодорожной станции, они-то и собирали сведения, а однорукий руководил и работал на рации... Нас к нему потом водили на очные ставки — совсем другой стал человек, вся обаятельность куда-то делась, не лицо у него теперь было, а морда загнанного зверя. На нас всех, к этой истории краешком частных, она произвела большое впечатление. И до того особисты частенько талдычили о повышенной бдительности, о том, что враг не дремлет, но получалось это у них плакатно, голословно, так что пропустили эту болтовню мимо ушей — работа у них такая, им положено. И совсем другое дело, когда своими глазами видишь натурального немецкого шпиона, замаскированного так, что и не подумаешь. На многое по-другому смотреть начинаешь...

Так что в излишнюю подозрительность впадать не следует, но и в излишнюю доверчивость тоже...

Так что Рома сказал сухо, уже насквозь официальным тоном:

— Ты, браток, должен сам поднимать такие вещи... У часовых приказ четкий: если кто-то будет отираться возле эшелона, брать за шкуру и тащить

в особый отдел, невзирая на количество конечностей. Оно тебе надо?

Он говорил чистую правду: именно такой инструктаж мы все и прошли перед тем, как погрузиться в эшелон. Рука не поднималась хватать за шкирку безногого калеку-фронтовика, но все равно, чем черт не шутит, отсутствие ног еще ничего не доказывает...

«Танкист» зыркнул на него исподлобья. Не мог не понимать своего невеселого положения. Это обычные милиционеры старались к таким вот по пустякам не вязаться, разве что по особой необходимости. А для особистов и безногий оказался бы самым подходящим клиентом: не хватает только ног, все остальное на месте, голова целехонька и работает исправно, язык подвешен, показания подписывать может...

— А я что? Я ничего, — сказал «танкист» уже совершенно другим тоном. — Разрешите идти, товарищ командир?

— Идите, — распорядился Рома командирским тоном.

«Танкист» проворно, быстро развернулся на месте и покатил к станции, сноровисто орудуя своими деревяшками. Глядя ему вслед, Рома фыркнул, покрутил головой:

— Экземплярус... Носорога приплел...

— Вот и не вздумай в Африку ездить, а то наврешься...

Мы искренне расхохотались — в то время поездка в Африку обоим казалась несбыточной фантазией наподобие межпланетного полета на Марс...

И вернулись к прежней теме. Двух гонцов на станцию мы таки отправили, и они отлично с поручением справились. Но это уже к моему рассказу

никакого отношения не имеет. Уточню только, что часа через полтора эшелон тронулся и до места назначения нигде больше не простаивал, так что насчет самогона мы поступили очень предусмотрительно.

Не прошло и месяца, как оно случилось...

Мы развивали наступление. Шли походной колонной, не то чтобы беспечно, но, в общем и целом, безбоязненно — хотя в качестве разведки две машины вперед пустили, метрах в трехстах от колонны. По точным данным авиаразведки, немцы откатились километров на несколько, продолжали отступать, не пытаясь где-то закрепиться, организовать оборону. Так что шли без особой опаски — Рома в головной машине, а я следом, оба высунувшись из башни по пояс.

Ландшафт вокруг был своеобразный: то редкое, то чащоба погуще, и широкий большак, изобретенный колесами и гусеницами — сразу видно, что здесь отступали немцы. Пару раз попадались на «обочинах» брошенные легковушки, но мы не останавливались их осмотреть.

Вот справа, в одной из небольших чащобок, вдруг блеснула вспышка, гроыхнул орудийный выстрел, и снаряд вцепился Роминому танку в башню...

Я на пару мгновений ошалел от неожиданности — давненько уж обстановка вокруг была самая что ни на есть мирная и безопасная, — не сразу ссыпался из башни вниз и видел, что случилось...

Угоди фриц противотанковым под башню, ее снесло бы к чертовой матери. Но, как потом выяснилось, стрелял он осколочно-фугасным — что нашлось. Броню не пробило, получилась лишь изрядная вмятина — но вот Рому осколками и взрывной волной буквально разрубило пополам, нижняя

половина тела осталась в башне, а верхнюю снесло наземь. Жутковатая была картина, но все же не самое страшное из того, что на войне приходилось видеть...

Секундное оцепенение прошло, и мы, народ опытный, нисколько не растерялись, действовали быстро и четко, благо знали, что у нас немаленькое численное превосходство. Двумя взводами зашли справа, где было редколесье, проломились через деревья, как кабан сквозь камыши, — и увидели немецкую самоходку. Из тех, что больше всего походили на ящик на гусеницах. Она так и стояла в положении, из которого стреляла — стволом к большаку, левым бортом к нам. Ну, мы по ней и ударили от всей души и вмиг раздербанили вместе с экипажем.

Она не загорелась, и мы ее осмотрели. Не было никаких головоломок и кроссвордов-ребусов: что-то у них поломалось, и они, не оставив машину, заползли в лес починиться. На разостланном брезенте разные инструменты разложены, по поваленным деревьям видно, каким путем они сюда забирались. Между прочим, правильные были немцы — не бросили машину, не стали утекать с отступающими, надеялись своими силами поправить все и смыться. Ну а завидев нас, не затаились и не сдались, как порядочные, разыграли фанатиков-камикадзе. Как ты к ним ни относишься, крепкие были солдаты...

Где же тут носорог, спросите? А вот он, паскуда...

Это у нас ИС был вторым танком, официально получившим имя собственное. А у немцев много разных марок танков и прочей бронетехники официально именовалось не сочетанием букв и цифр, а названиями всевозможной живности, необязательно зверей. «Тигр» и «пантера» — самые известные примеры. Других названий было немало, почему-то

это больше всего касалось как раз самоходок. Хваленый «фердинанд» — и в самом деле очень опасная для наших танков бандура — официально назывался «элефант», то бишь «слон». Были еще «куница», «оса», «шмель». А та самоходка, что угробила Рому, называлась «насхорн» — по-немецки «носорог»...

Такие дела. Совпадение? Кто же знает... Что до безногого танкиста... Сам я ни прежде, ни потом не сталкивался с подобными «гадателями», даже цыганок на меня как-то не выносило. Однако вполне верю: такие люди есть. Не раз о них слышал от людей, не склонных к розыгрышам, травле баек и фантазиям, от людей, которым веришь, в том числе от собственного отца. И еще вот что. Слышал от некоторых, что такие люди видеть-то видят, но не всегда точно и знают, что именно они видят. Оттого предсказания-гадания порой и получаются такие смутные.

И в эту картину, думается мне, полностью укладывается «африканский зверь носорог»...

ОГОНЬКИ НА ПОЛЯНЕ

Я тогда был ординарцем комбата. Вот и пришлось, далеко не в первый раз, доставлять пакет в штаб полка, прямо-таки центр цивилизации по тогдашним тамошним меркам: это наш батальон, как и другие, располагался в «шалашном» городке, быстро построенном саперами из веток, очень даже аккуратно. А штаб полка поместился в небольшой деревне, которую отступавшие фрицы не успели сжечь. Так что выдался случай посмотреть на женщин — к великому сожалению для меня, тогда молодого, только лишь мимолетно посмотреть. Зато у земляка-писарчука раздобыл бутылочку доброго немецкого вина (а ему отдал свой трофей, маленький маузер). Так что некоторая выгода от очередного хождения за два с половиной километра получилась.

Дорога шла не особенно густым лесом. Собственно говоря, дорога была импровизированная: по местам, свободным от деревьев, прошло немаленькое танковое соединение. Но так было даже лучше: гусеницы оставили столько следов, что заблудиться не мог и такой непривычный к лесу человек, как я. Стояла ранняя осень без дождей, немцев-окруженцев в окрестностях не имелось, так что мое путешествие

не таило ровным счетом никаких сложностей или опасностей. Шагай себе и шагай, почти прогулка.

На обочине, точнее на опушке, я увидел местечко, как нельзя более подходившее для моих нехитрых замыслов. Небольшая полянка в лесу с поваленным деревом, причем человека, усевшегося вольготно на это дерево, с дороги заметить трудно, если не приглядываться специально — но кто бы этим занимался? Прямо на обочине не устроишься — всегда мог проехать какой-нибудь особенно ретивый и остроглазый командир, которому не придется по вкусу, что у дороги примостился сержант-пехотинец и нахально распивает неуставное спиртное...

Присел я на это поваленное дерево, высмотрел подходящий сучок и протолкнул им пробку внутрь бутылки. И разделался с вином в два приема — питье было вкусное, но слабоватое для привычного к водочке русского человека. Свернул сигарку и сидел, отдыхая душевно. Хоть и слабый напиток, все же немного забрало.

Почти докурил самокрутку, и тут...

На войне крайне необходимо умение вертеть головой на триста шестьдесят градусов. Ну конечно, образно выражаясь — из всех живых существ на это способны, если я не ошибаюсь, только совы. В общем, очень важно уметь подмечать все происходящее вокруг в непосредственной близости, от этого сплошь и рядом зависит и сама жизнь. Те, кто этого не умеет, очень многим рискуют...

Вот так вот и я, краем глаза, боковым зрением или как там это еще назвать, заметил неподалеку, в лесу, нечто необычное, можно так сказать, нестандартное, не укладывавшееся в картину обычного окружающего. Все, что не укладывается, может

представлять угрозу. А потому я отреагировал моментально, благо пьян был самую чуточку, по русским меркам и не пьян даже, а так, малость завеселевши. Секунда-другая — и я уже лежал за поваленным деревом, изготовив к стрельбе автомат. До рези в глазах всматривался в то, что метрах в пятнадцати от меня происходило.

И очень быстро убрал палец со спускового крючка, а там и поднялся в полный рост, а там и сделал несколько шагов в ту сторону. Уже самую малость смеркалось, но было достаточно светло, чтобы все хорошо рассмотреть и сообразить, что угрозы нет. Диковинное зрелище, странное дальше некуда, но вот угрозы как-то не чувствовалось — а ведь на войне ее частенько хребтом чувствуешь...

Как это выглядело? Метрах в десяти от меня на высоте примерно в половину человеческого роста над травой кружили огоньки. Именно что огоньки, сами по себе, без всяких фонариков. Сначала мелькнула мысль, что это светлячки — я в детстве в лесу возле нашей деревни их навидался. Но эту мысль, пожалуй, следовало решительно отбросить. Во-первых, они были гораздо больше светлячков, во-вторых, были не такие тускловатые (правда, свет был не ослепительный). Этакие светящиеся шарики величиной с лесной орех. Желто-зеленые. Сейчас, окончив после войны институт и всю жизнь проработав инженером на заводе, я скажу: они были чистейших спектральных цветов. В точности как радуга — вот самое удачное сравнение.

Образовав то ли шесть, то ли больше концентрических колец (не до того было, чтобы их точно сосчитать), они кружили вокруг самого обыкновенного невысокого куста — неспешно, плавно, можно

сказать, неторопливо. В расположении двух цветов не было никакой регулярности: несколько зеленых, потом один желтый, и наоборот. Видели мы однажды с мальчишками после грозы шаровую молнию, но тут ничего похожего: шаровая молния гораздо больше, с яблоко или клубок для вязания. Да и шаровые молнии никогда не летают стаями, всегда поодиночке. А шариков было, навскидку, штук с полсотни, а то и побольше. Ровные такие круги, будто огромным циркулем очерченные. И кружение это происходило совершенно беззвучно, а та шаровая молния шипела и потрескивала наподобие электрических разрядов или масла на раскаленной сковородке...

Первое, что пришло в голову, — новое секретное оружие немцев. Родилась эта мысль не на пустом месте. Как я выражусь теперь, с высоты прожитых лет — у войны своя мифология и свой фольклор. Всю войну довольно часто, расходясь широко, кружили самые разные слухи, байки и побасенки о секретном оружии немцев. Все они оказались чистым вымыслом, но когда-то имели большое распространение.

Очень быстро я от таких догадок отказался. Во-первых, это нисколько не походило на оружие, вид был такой... мирный. Во-вторых, кто бы стал пускать в ход секретное оружие в глухомани, где, кроме меня, не было ни единого солдата? Вздор какой...

Самое большое внешнее кольцо вдруг распалось, словно кто-то его разорвал, желтые и зеленые огоньки, сбившись в табунок, полетели ко мне. Я остался стоять — бежать было бы глупо, они двигались со скоростью бегущего человека, наверняка догнали бы. Так что оставалось только надеяться, что вреда от них не будет. А стрелять по ним, я отчего-то уверен, было делом безнадежным, еще и оттого, что их

было больше, чем патронов у меня в диске. Да и пули могут на них не подействовать...

Словом, я остался на месте. Они подлетели, принялись неспешно кружить вокруг меня — без всякого порядка и симметрии, совсем не так, как те, что остались вокруг куста. Несколько опустились на ствол опущенного дулом к земле автомата — и никаких электрических разрядов не произошло. Несколько прилипли к голенищам сапог, к галифе, к гимнастерке, два угнездились на тыльной стороне ладони правой руки. Такое впечатление, что от них исходило легонькое тепло, а может, мне так показалось.

Не знаю, сколько это продолжалось. Примерно половина так и кружила вокруг меня. Почему-то мне подумалось — да и теперь так думается, — что в их поведении было нечто осмысленное, разумное. Нечто похожее, я бы сказал, на любопытство. Неодушевленные предметы на такое никак не способны. Как-то очень уж целеустремленно они двигались, а это опять-таки признак одушевленности.

Страх не было ни малейшего — но не мог же я так вот торчать до скончания века? Интересно, конечно, но у меня оставались свои дела и свои заботы, я был посреди войны...

Так что я стал помаленьку отступать — бочком-бочком, кося на них глазом. Они так и остались на том же месте, слетели и с меня, и с автомата, повисели над травой, а потом всем табунком улетели к тем, что кружили вокруг куста. Что было дальше, я не видел — отошел достаточно далеко и быстрым шагом направился в расположение части.

Никаких таких особых переживаний и волнений по поводу случившегося не было. И голову я над увиденным не ломал, хватало насущных забот, которых

на войне предостаточно. И никому, конечно, ни о чем не рассказал — не поверили бы, стали б вышучивать. Очень уж эти огоньки были необычными, ни на что не похожими. В такое поверить может только тот, я думаю, кто видел все собственными глазами.

Я и потом над этим голову не ломал — какой смысл, если абсолютно не на что в размышлениях опереться? Ни раньше, ни потом я ничего похожего не видел, не слышал и ни о чем подобном не читал. Абсолютно никакой пищи для ума, не на чем строить догадки. Одно ясно: на шаровую молнию эти загадочные огоньки нисколечко не походили.

От одной мысли не в состоянии отделаться: они выглядели именно что одушевленными и разумными...

ЗЛЫЕ ЧУДЕСА

Один-единственный раз в жизни сталкивался с необъяснимым — и слава богу. Собственно говоря, дважды, но вторая история неразрывно повязана с первой, разве что отстоит от нее на пятнадцать лет...

Дело было в начале лета сорок четвертого. Нашу дивизию отвели в тыл принять пополнения и пополнить матчасть до штатной. В последних боях понесли потери, которые тогда обтекаемо именовали в сводках Совинформбюро «значительными», а откровенно говоря — живых осталось гораздо меньше, чем павших. Обычно такие не особенно спешные пополнения — верный признак того, что готовится крупное наступление. Так потом и оказалось, но это уже не имеет отношения к тому, что произошло...

Если докопаться до корней, получится, что в основе лежит как раз тыловое безделье. На передовой просто не было бы возможности у действующих лиц, назовем их так, отвлекаться на такие вещи.

Как выглядел отвод на переформирование и пополнение? Больше всего хлопот выпало на головы офицеров стрелковых полков. Вот уж у кого известная часть организма была в мыле... Пополнение большей частью состояло из зеленых новобранцев, как из тех мест, куда немец не добрался, так и с осво-

божденных, временно оккупированных территорий. Нужно было в краткие сроки их кое-как обучить обращению с оружием и азам службы — уставы, хождение строем и прочее. К тому же немало оказалось среднеазиатов и кавказцев — иные ни словечка по-русски не знали, что прибавляло хлопот. В том числе замполитам, комиссарам и комсоргам — у них был свой фронт работ, учитывая сущий винегрет, какой являли собой новобранцы.

В лучшем (чутьочку) положении были артиллеристы, минометчики и пулеметчики. Им требовалось гораздо меньше людей, чем пехоте, да и старались они подыскивать таких, что уже умели обращаться с техникой, хотя бы курсы прошли. Другое дело, что поступали новейшие образцы пушек и пулеметов, которые и опытным приходилось осваивать с нуля.

На саперов и связистов легла нагрузка полегче — но и они не лежали кверху брюхом на солнышке, учили пополнение, занимались учениями сами по принципу: «солдат в спокойное время бездельничать не должен». Одни повара никаких перемен не заметили — как кашеварили, так и в тылу кашеварили, разве что приходилось ждать бомбежек и артналетов.

Лучше всего в этой ситуации было медикам. Авто-санитарная рота была по уши в работе — принимали и обихаживали новый автотранспорт. А вот медсанбат оказался совершенно не у дел: ну откуда в тылу раненые? Только выздоравливающие — легкие, которых не увозили в тыл, а оставляли долечиваться в расположении дивизии. Никаких учений хирургам и прочим врачам, равно как другому медперсоналу, по чисто техническим причинам не устроишь. Поступлением медикаментов и медицинского инструмента занимались снабженцы.

Мы, разведка (которой я тогда командовал в звании старшего лейтенанта), как обычно, что на передовой, что в тылу, занимали положение несколько специфическое. У меня оставались восемь человек, и поступили шестеро новеньких. Все до единого, понятно, были не новобранцы (лопоухим новобранцам в разведке делать нечего), а взятые с передка, обстрелянные, хваткие, зачастую с орденами и медалями. Конечно, их учили необходимым на новой службе премудростям, но и «старичков» тренировали по полной: преодоление полосы препятствий, стрельбище, рукопашный бой, использование всяких подручных предметов, какие только могут попасться под руку во вражеских окопах, немецкий язык... Словом, у нас тоже кверху пузом не лежали.

И все же... Есть существенная разница меж простым пехотинцем и разведчиком. Пехотинец намертво прикреплен к расположению своего взвода, роты, батальона. Разведчик пользуется свободой передвижения, способной пехотинца вогнать в лютую зависть; есть у разведчика и некоторые другие привилегии. И это, как хотите, справедливо. Я и тогда так думал, и сейчас думаю. Пехотинец, кто бы спорил, открыт всем смертям. Но он среди своих, среди товарищей, он всегда частичка могучей силы, громадного механизма, его поддерживают пушки и прочая артиллерия, пулеметы, танки, боевая авиация (пусть не всегда). Пехотинец не одинок. А вот разведчик действует в немецком тылу, где может полагаться исключительно на себя и немногих друзей, и смерть его там подстерегает гораздо чаще...

И еще один очень важный момент. Разведчик в ситуации вроде нашей лишен дела. Крайне напоминает хорошую охотничью собаку, которую поса-

дили на цепь в конуре — меж тем она совершенно точно знает, что ее товарки сейчас гоняют зайцев, вынюхивают уток, а то и на волков с медведями ходят. Какие бы то ни были тренировки до седьмого пота, подсознательно себя чувствуешь ненужным и бесполезным, а это не на шутку угнетает. Отсюда и проистекают разнообразные нарушения, порой серьезные.

У меня, слава те господи, такого не случилось — ну бывало кое-что мелкое, на которое хороший командир, что уж там, сплошь и рядом закрывает глаза. Сложность, как потом обнаружилось, была в другом: произошло пересечение моих орлов с дислоцированным совсем неподалеку медсанбатом. Думаю, нет нужды вдаваться в детали, все и так понятно, верно?

И все бы ничего, дело на войне очень даже житейское, что уж там. Но возникла тягостная загвоздка: двое моих разведчиков прочно прилипли к одной и той же девушке, и ни один не собирался давать задний ход, никто не хотел уступать поле боя другому. Ситуация банальнейшая, но когда сходятся, словно носороги на узкой дорожке, двое твоих подчиненных, коих всего-то четырнадцать, и глядят друг на друга волками, и при любой оказии садятся подальше друг от друга, и у обоих есть оружие, и оба прошли огни и воды, крови не боятся... На схожей почве порой происходили печальные эксцессы, иногда кончавшиеся трагически — вроде натуральной дуэли на наганах меж двумя лейтенантами из нашей дивизии до пули в спину сопернику ночной порой (в соседней дивизии). (Дуэлянты остались целехоньки, обормоты, но обернулось все шумом, скандалом и штрафбатом для обоих. А этого из соседней дивизии так и не вытащили за ушко да на

солнышко — был человек, крепко подозревавшийся, но не нашлось убедительных улик, тем более свидетелей, и смершевцы, я точно знаю, в конце концов с матами-перематами отступились — тем более что дивизия пошла в наступление, из которого подозреваемый уже не вернулся. Но в обоих случаях, что характерно, крепенько попало и непосредственным начальникам, и замполитам.

Так что беда на меня свалилась, если можно так выразиться, двойной крепости. Во-первых, в случае чего и мне, грешному, залили бы сала за шкуру, а во-вторых, уже было ясно, что это идет во вред делу: нынешнее безделье не продлится вечно, скорее раньше, чем позже мы займемся тем, для чего натасканы. Но этих двоих ни за что не следует назначать в одну разведгруппу. Представляете посланную на серьезное задание группу из собаки и кошки? Вот примерно так. И что тут можно придумать, мне в голову не приходило, как я ее, болезную, ни ломал. И не мог ничего предпринять — до открытого столкновения между соперниками не дошло, хотя этого и следовало всерьез опасаться. Запретить обоим шляться в медсанбат в свободную минутку я не мог — это в пехотной части распрекрасно прокатило бы с подачи даже не взводного, а отделенного. К тому же оба ухаля, говоря казенно, свои шлянья легендировали так, что не подкопаешься. Одного, изволите ли видеть, головные боли замучили, вот и ходил за порошками (которые, стервец, предъявлял). У второго, понимаете ли, кости стало мозжить, на передке не тревожило (там многие хвори мирного времени как-то пропадают напрочь), а вот в безопасном тылу напомнило о себе (и тоже показывал флакон с некоей «мазью для растирания»).

Разведчики — ребята сообразительные и планировать отвлекающие маневры умеют...

Осложнялось все позицией, которую заняла эта клятая Аглая, санинструктор с погонами старшины медслужбы, девка красивая, но...

Сейчас я могу с уверенностью сказать после многих лет жизненных и личных наблюдений, что женщины на войне четко делились на три типа. Два из них частенько встречаются и на гражданке, а третий, право слово, порожден исключительно войной.

Недотроги, в том числе и красивые. Иногда принца ждут, то есть большого и настоящего чувства (оно и на войне случается), то ли просто такие по жизни.

Те, кого можно без дипломатии и преувеличений назвать коротким русским словом, которое встречается исключительно на заборе. Предположим, таких и на гражданке хватает, но тут как раз есть своя специфика — тот самый тип, что порожден исключительно войной. Одни считают, что война все спишет, а уж потом, в мирной жизни, можно стать паинькой-кошечкой. Другие мыслят ширше: торопятся как следует порадоваться жизни, потому что смерть может свалиться на голову в любой момент, с ясного неба — и, положив руку на сердце, у меня не найдется должной решимости их упрекать... Мужики, знаете ли, на войне тоже готовы были воспользоваться любой оказией: где тебя подстережет старуха с косой, решительно неизвестно, может, за ближайшим поворотом...

Знакомый, капитан Климушкин из медсанбата, хирург от бога, как-то пожаловался за бутылочкой: одна из его санитарок как раз увлеклась с размахом походно-полевой любовью, так что о ней и сплетничать перестали, принимали как данность. Капитан

ее как-то попытался деликатно урезонить, посоветовал соблюдать хотя бы видимость светских приличий. Девка на него посмотрела даже не блудливыми, а ясными невинными глазами и выдала: «А может, на нас завтра бомба шмякнется, а мне на том свете и вспомнить будет нечего?» Капитан как-то и стушевался: в самом деле, медсанбаты под бомбежку или артобстрел попадали не раз, они не в таком уж безопасном тылу располагались...

(Была еще одна категория: хотевшие одного — забеременеть. Беременных автоматом отправляли в тыл. Но это, говоря ученым языком, подвид.)

Словом, Аглая принадлежала безусловно к третьему типу. Своих маленьких радостей не чуралась, но кавалеров, скажем мягко, не меняла как перчатки и с ходу в омут с головой не бросалась. Как и на гражданке за красотками водится, в данном конкретном случае подавала надежды обоим, играла глазками-зубками на обе стороны, держала на дистанции и окончательного выбора пока что не сделала. Чем только нагнетала страсти: выбери она кого-то одного, отвергнутый, очень может быть, позлился бы и плюнул. По-прежнему тихо ненавидел бы удачливого соперника, но держал бы это при себе и малость успокоился — что на стену лезть, коли так вышло. А так, пока царила полная неопределенность, в костер регулярно летели сухие дровишки, и полыхал он дай боже...

Откуда я все это знал? Во-первых, толковый командир должен знать, чем дышат его подчиненные, тем более в столь малочисленном и специфическом подразделении. В подробности вдаваться не буду — дела давно минувших дней, былшем поросло. Иногда командиру не стучат, его осведомляют, а это

немножко другое. Толковым подчиненным тоже не к лицу разлад в нашем маленьком коллективе, способный осложнить жизнь всем без исключения. Во-вторых... Ну ладно, дело опять-таки прошлое. Была у меня в медсанбате подружка... самого что ни на есть третьего типа. Стукнуло мне тогда едва двадцать два годочка, ничьей фотографии я с собой не носил, и никто мне не писал писем женским почерком. А жизнь продолжается и на войне...

В конце концов выход у меня замаячил только один: поговорить по душам с Климушкиным, объяснить ему, как вредно влияет красотка Аглая на боевую слаженность моего подразделения (которое все же малость посерьезнее обозной команды). Не успел, закрутились события...

Но сначала, благо времени у нас предостаточно, расскажу подробно об этих двух соперниках, претендентах на благосклонность Аглаи. Без этого, думается, не обойтись.

Коля Бунчук и Гриньша Лезных (это он так себя с самого начала, едва придя к нам, поставил — не Гриша, а именно Гриньша, мол, у них в Сибири так исстари заведено. Ну так и называли — невелик принцип, бывают бзики и заковыристее...)

Кое в чем они чертовски, другого слова не подберешь, друг на друга походили. Оба двадцати пяти годочков, с разницей в несколько недель, оба на фронт попали осенью сорок первого, с разницей в несколько дней. Оба пришли из пехоты — ну, понятно, не по собственному желанию пришли, присмотрелись и отобрали их как подходящих для разведки (чему командир, особенно взводные, были крайне не рады, никому неохота отдавать самых исправных солдат — да куда ж поперешь против начальства?), оба до войны

окончили восьмилетку и техникумы: Коля — автодорожный, Гриньша — лесотехнический, успели с год поработать в народном хозяйстве, Коля в автоколонне, Гриньша в лесничестве (так что оба были поразвитее многих, что и на успех у женщин влияло). Оба дослужились до сержантов, оба заработали по ордену, по две медали, по красной нашивке за легкие ранения.

На этом сходство кончалось и начинались различия. С внешности начиная. Коля был сухопарый (но сильный), чернявый, горбоносый, прямо-таки цыганистого облика. Иные его первоначалу за цыгана и принимали, но был он потомственный донской казак, а почему таким уродился, объяснил сразу, даже с некоторой гордостью: бабка у него была турчанка, дед ее привез из Болгарии после турецкой кампании и обвенчался честь по чести. Случаи такие бывали, так что Шолохов в «Тихом Доне» писал о реальности. Гриньша был шикорокостный, кражистый, этакий медведь (но не увалень, иначе не попал бы в разведку, где нужны проворные), белобрысый, веснушчатый. Оба не писанные красавцы, но и уж всяко не уроды. Еще и в том разница, что Коля был из краснобаев и весельчаков, а Гриньша не молчун, конечно, но гораздо более немногословный (впрочем, многим женщинам такие мужики как раз и нравятся, чуют в них некую основательность, предпочитают их балагурам).

И по натуре они были как небо от земли, на своем месте (разве что Гриньша в разведке служил полгода, а Коля — два с половиной месяца). Но вот насчет натуры...

Идеальных людей не было, нет и не будет. Многим свойственны маленькие слабости, другое дело, как они проявляются...

Все Колины мелкие прегрешения были, как бы это сказать, вполне безобидными, в пределах средней нормы. Разве что спиртного раздобудет и украдкой употребит с друзьями поболее наркомовской нормы, но никогда в ущерб делу. Что уж там, так поступали все, кто только имел к тому возможность. Если шито-крыто — ни один опытный командир не дернется (замполиты и особисты — другая статья, да и то не все из них были склонны выжигать мелкие проступки каленым железом).

Еще насчет трофеев... Вопрос это сложный и крайне неоднозначный. Снять с дохлого или пленного хорошие часы считалось прямо-таки делом совершенно житейским. Все у нас (и я в том числе, что уж там) свои ходунцы не в военторге купили (там часами отроду не торговали) и не от начальства получили поощрение (а вот такое бывало) ... И это не только Красной армии касается. Гораздо позже, после войны, читал я в одной исторической книжке: в Первую мировую английские англичане поглядывали свысока на англичан заморских — австралийцы и новозеландцы, этакая провинция, как раз в массовом порядке и забирали часы у пленных или убитых немцев (я крепко подозреваю, нос задирали исключительно офицеры и джентльмены, а народ попроще и у английских англичан своего не упускал). В разведке это, положи руку на сердце, проявлялось ярче всего: мы ведь каждого «языка» первым делом обыскивали с ног до головы. И если попадалось что-то интересное помимо часов — скажем, портсигар серебряный или просто фасонный, хорошая зажигалка или авторучка, просто красивая безделушка — вещицы такие хозяина меняли моментально.

(Бывали казусы. В сорок третьем гауптман-танкист, которого мы аккуратно сграбастали непопор-

ченным, устроил скандал на первом же привале, еще до того, как пересекли линию фронта. Про часы и портсигар он и не поминал, хотя часы были золотые и портсигар золотой, хоть и не особо увесистый. Весь шум-гам получился из-за малюсенькой, в полпальца, бронзовой собачки тонкой работы. Толя Баулин на нее сразу наложил руку — сказал, вернется с войны, сынишке отдаст. Из-за нее гауптман и расшумелся — говорит, хоть зарежьте, а собачку отдайте. Оказалось, дочурка подарила, когда уходил на войну, вот и носил как память и талисман. Ну, вернули, мы ж не звери бесчувственные, да и настроены были благодушно — очень нам нужен был «язык» из этой именно свежеприбывшей танковой части.)

Точно так же по-житейски относились к разным находкам, сделанным, если можно так выразиться, вгорячах — в немецком штабном автобусе, в офицерской машине, в брошенном немцами доме, блиндаже или казарме, — на что солдат наткнулся, то его. И во все уж обычным делом как у солдат, так и у офицеров считалось прибрать к рукам что-то военное, как нельзя лучше годившееся для использования по назначению — эсэсовский кинжал, винтовочный штык-нож, фонарик, пистолет, особенно в дорогом исполнении.

А вот дальше начинались неоднозначности. У большинства считалось неприемлемым снимать обручальные кольца — это у нас их женатые тогда практически не носили, а у немцев и их союзников имелись во множестве, часто золотые. Ну и считалось не вполне правильным чересчур уж увлекаться поиском «находок», специально время этому посвящать — это еще не мародерство, но предосудительное барахольство. И вообще уж вопиющим считалось, если отдельные бессовестные экземпляры от-

правлялись украдкой обшаривать мертвых на месте боя, особенно крупного сражения. Больше всего этим грешили урки, попавшие в армию из лагерей, и всевозможные прибалтненные, до войны имевшие за душой уголовные грешки, но не попавшиеся. Правда, попадался и народец вполне законопослушный, однако ж поддавшийся соблазну. Сами солдаты таких ненавидели, а уж если они попадались, прямоком отправлялись в штрафную роту, а то и к стенке в зависимости от обстановки. Я и сегодня считаю, что это было совершенно правильно.

Так вот, Гриньша... Он все же не мародерствовал, покойников не обшаривал, не настолько уж гнил был парень. Но толика гнильцы в характере все же имелась. Пару-тройку раз (когда в одиночку, когда с приятелями) устраивал именно что насквозь барахольные вылазки и набрал с полсидора компактных, умно говоря, недешевых вещичек. Было кое-что и похуже. В одном сутки как взятом нашими городе — собственно, не взятом, а освобожденном от немецко-фашистских захватчиков — с корешем из штаба батальона едва не изнасиловал красивую девчонку, только-только вышедшую из школьного возраста. И сорвалось это похабное дельце по не зависящим от ухарей причинам: там чисто случайно оказался старшина Бельченко из нашего же разведвзвода, с первого взгляда оценил ситуацию и это дело в корне пресек. К командирам не ходил — дал обоим пару раз по морде и шуганул. У него у самого имелась дочка, близкого возраста — самый старший у нас был, сорок два годочка стукнуло, многим, и мне в том числе, форменным стариком казался...

(Правда, и старшина не был таким уж праведником. Из того домишки Гриньшу с корешем

вышиб с напутствием: «Вот дойдем до Германии, немцы заваливайте сколько душе угодно, а советских девушек не паскудите!» Ну все мы навидались, что немцы у нас натворили, и многие говорили открыто: вот дойдем до Германии, за все посчитаемся. Особенно те, у кого немцы извели родных и близких. Я и сегодня к ним отношусь без малейшего осуждения...)

И все Гриньше сходило с рук — и история с той девчонкой, и чересчур старательные поиски ценностей, и еще парочка проступков того же калибра. Я как командир на все это, что греха таить, старательно закрывал глаза. Командиром я считался неплохим, так что о благодушии или там о попустительстве речи не было. Тут другое — суровая реальность войны, у которой много лиц и нет каких бы то ни было схем... Только не нюхавшие пороха книжные романтики вроде безусых выпускников курсов младших лейтенантов могут думать, будто всякий справный солдат, отмеченный боевыми наградами, — белоснежный ангел. В реальности сплошь и рядом обстоит как раз наоборот. Вам доводилось читать «Берег» Юрия Бондарева? Доводилось? Тогда, может, помните такого персонажа, сержанта Меженина? Вот видите. Гнили у этого Меженина было не в пример побольше, чем у Гриньши, но механизм тот же самый: до поры до времени командир на все его художества закрывал глаза. Хороший был солдат, этого у него не отнять. А ведь там были обычные артиллеристы, которых, наверное, в тысячу раз больше, чем разведчиков. Разведчик — товар штучный, опытный кадр в большой цене, его так просто кем попало не заменишь, это не артиллерия и не пехота. Гриньша, я уже говорил, ни разу из-за своих фокусов дела

не провалил и ровным счетом ничего не напортачил. К тому же никогда не переходил неких рамок. Вот я и закрывал глаза на то и на это, как очень многие опытные командиры.

И пришел ко мне утречком один из оперуполномоченных Смерша, по-старому особист, Веня Трофимов. При других обстоятельствах других людей такой визит мог и насторожить, но я и ухом не повел. Веня был парень правильный, в штабных тылах не отирался и липовых дел никогда не шил, а ведь среди его сослуживцев бывали всякие. Еще в пехоте жизнь меня сводила, пусть и, слава богу, не напрямую с двумя такими, гниловатыми. Один откровенно избегал передка, ошивался вдаль от боевых порядков, второй был не трусоват, по кустам не хоронился и однажды даже отбивал вместе с нами атаку. Но повадками они были схожи, чтобы их не упрекнули в нерадивости и безделье, запросто могли без всякого душевного противления высосать дело из пальца. Двое неплохих ребят, офицеры из нашего полка из-за них и погорели. Один ушел в штрафбат, откуда так и не вернулся, второй вылетел из кандидатов в члены ВКП(б), что по тем временам было нешуточной неприятностью и жизнь крупно портило.

Веня был не такой, и я его, в общем, уважал. Пару раз и выпивать приходилось, хотя особого приятельства меж нами и не было. Но одно я знал твердо: пакостей от Вени ждать не следует, а это в тех непростых условиях многое значило. Веня, как позже стали говорить, курировал в том числе и наш разведвзвод, но за две недели, что мы в этом городе провели вдаль от передовой, у него ни разу не возникало ко мне дел по его линии — неоткуда

было таковым взяться в безопасном тылу, где разведка в простое...

Веня был парень резкий, решительный, другим в Смерше нечего и делать. Тем более сильным было мое изумление, когда я сразу в нем заметил некоторую скованность, словно бы даже и нерешительность, чего за все время нашего знакомства не отмечалось ни разу. Но ошибиться я никак не мог. Да и он сказал сразу:

— Я к тебе, прямо можно сказать, неофициальным образом...

Опять-таки прежде этого не случалось. А за бутылочку мы оба раза садились ближе к вечеру, а сейчас едва доходило десять утра. Это-то меня не то чтобы встревожило, но заставило насторожиться: жизненный опыт показывал, что такой вот неофициальный визит особиста порой сулит хлопоты похуже официального вызова...

Что интересно, он не мялся, не тот был парень, но определенно тянул с разговором. Первый раз за все время нашего знакомства с ним приключилось такое. Мне стало самую чуточку не по себе, и я, чтобы не молчать, спросил немного настороженно:

— Случилось что?

— Как тебе сказать... Случиться не случилось, но вот по твоему Гриньше Лезных есть нехорошая информация...

— Выкладывай уж, — сказал я решительно, чтобы не затягивать. В голове у меня мелькнуло: неужели Гриньша на сей раз сотворил что-то такое, потребовавшее вмешательства особиста? Это ж и мне прилетит рикошетом...

— Дело было так... — сказал Веня, морщась.

Я увидел по его лицу и интонациям, что от себя он не добавляет ни словечка, повторяет слово в сло-

во то, что ему рассказала... назовем это так, добрая душа. Говорит, понятно, от лица Гриньши.

— Я ж знаю, он у тебя на выпивку крепкий. Но то ли перебрал, то ли размяк на минуточку — такие вещи бывают. И так... «До чего мне осточертела эта война, слов не подберешь. Устал, спасу нет. Убегать бы за тридевять земель, так ведь некуда. К немцам нельзя категорически. Они, очень может быть, глоток шнапса дадут и папироску поднесут, скажут: «Гут, Иван, гут!» Только ведь всю оставшуюся жизнь будешь у них цепным бобиком расстилаться. Лучше уж осколок в лоб, тут хоть домой отпишут: мол, смертью храбрых... И дезертировать никак нельзя. Нет уж, спасибо! Всю оставшуюся жизнь как заяц под кустом прятаться? На хер надо. Есть еще третий ход, но и это никак не прокатит. Получается, как в кинофильме «Чапаев»: некуда крестьянину податься, куда ни кинь, всюду клин. И наплевать всему свету, что крестьянин от войны устал так, что нет никакой моченьки...»

Он замолчал и закурил с некоторой нервозностью.

— А дальше? — спросил я уже не так осторожно.

— А ничего дальше. Та пара-тройка корешей, с которыми он сидел за флягой, помолчала, и потом кто-то сказал: разговоры такие затевать не след, может получиться чревато. Ну Лезных больше не вел ничего подобного, про обычное говорили...

— И что ты намерен предпринять? — спросил я в лоб.

А сам подумал: если бы он хотел что-то предпринять по своей линии, ни за что бы ко мне не пришел с неофициальным разговором, никогда прежде такого не было...

— А что я могу предпринять? — поморщился Веня досадливо. — Ничего я не могу предпринять. Он же не агитировал за переход к немцам или за дезертирство, вовсе даже наоборот. Ни с какой стороны не подкопаешься, неглуп землячок, ох, неглуп...

(Веня тоже был из Сибири, правда, из соседней области — но, как он однажды сам говорил, при сибирских необозримостях двести километров расстояния — это все равно что земляки, на войне особенно.)

— Ты уж сам все обмозгуй, твой кадр — тебе и карты в руки... — Он встал, такое впечатление, с облегчением. — Сам прекрасно знаешь, чем такие вещи пахнут в боевой обстановке. А я пойду, хлопот невпроворот...

Когда он ушел, я первым делом подумал, что он мне приврал насчет «пары-тройки» корешей. Такие разговоры ведут с глазу на глаз, особенно мужики рассудительные и жизнь понимающие туго. Но если бы Веня так сказал, я непременно попробовал бы из житейского практицизма вычислить его, говоря культурно, информатора. А вот пару-тройку вычислить замучишься.

Потом в голову пришло, что думать надо не о том...

О каком таком «третьем ходе» Гриньша упомянул, мне не надо было долго разжевывать, не первый год воевал: самострел, конечно. Что на войне не такая уж редкость. Самострелы бывают разные. Те, что поглупее, стреляют сами себе в руку или ногу через буханку хлеба или свернутый ватник — и большей частью попадают. Те, что поумнее, просят надежного кореша в них стрельнуть с не-большой дистанции, самые шустрые припасают для

этого трофейное оружие — тогда их ущучить бывает гораздо труднее. Есть и вовсе уж изворотливые. Один такой попался в нашей роте, хорошо еще, не в моем взводе. Под плотным немецким огнем высунул над окопом левую руку — ну, и словил пулеметную очередь, ладонь в ошметки, кость перебило, так что руку ему ампутировали ладони на две выше запястья. Три человека это видели и моментально сообразили, что к чему, — только один не вернулся из боя, второй с натуральным тяжелым осколочным ранением увезен был в тыл, а показания третьего к делу не подошьешь без четких доказательств, которым неоткуда взяться. Вот и уехал этот тип к жене и детям — с культей левой руки, но живой, навсегда избавленный от войны, с желтой нашивкой за тяжелое ранение. И ведь наверняка получил медаль «За победу над Германией», а потом и все юбилейные, какие были, очень может быть, в почетные пионеры приняли его, суку, на слетах ветеранов красивые слова говорил...

В общем, трудно, но вовсе не невозможно устроить себе самострел так, чтобы не попасться. Знаю еще парочку случаев, на которые не стоит сейчас отвлекаться. Однако дело всегда происходило на переднем крае, а вот служба в разведке, грамотный самострел устроить нереально, будь ты хоть семи пядей во лбу...

Я и эти мысли отбросил как второстепенные. Появилась не в пример более серьезная головная боль. Как мне подсказывал мой фронтовой опыт, я прекрасно знал, тут Веня кругом прав, чем такие вещи пахнут. Выходило, что полагаться на Гриньшу более нельзя, он, к бабке не ходи, стал слабым звеном, уязвимым местом, если уж совсем интеллигентно —

ахиллесовой пятой... Иначе говоря, стал чертовски ненадежен.

Понимаете ли... Очень часто человек, открыто признающийся, что устал от войны, начинает беречь себя. Все мы, что скрывать, устали от войны, даже кадровые. Война — все же занятие для человека противоестественное, на ней убивают и калечат. Другое дело, что большинство людей загоняют эти мысли поглубже, стискивают зубы и воюют с прежним прилежанием. А вот некоторые как раз берегутся. Я не имею в виду, что человек прячется по кусткам или придумывает еще что-нибудь — сплошь и рядом нет кустов, куда можно спрятаться или еще как-то уклониться от, скажем, атаки. Просто в человеке что-то меняется, ломается, ширится этакая духовная трещинка, и это влияет на все его поведение на войне. Вообще-то есть некая непонятная мистика: таких «хороняк» убивает в первую очередь. Как метко сказал однажды старшина Бельченко, кто начинает смертушки бояться очень уж быстро, за тем первым она и приходит...

Есть еще одно немаловажное обстоятельство. В обычной воинской части, где людей много, человек такой угробит только себя самого, редко-редко потянет за собой других. А вот в разведке, где каждый человек на счету и боевое задание выполняют маленькими группами, все обстоит как раз наоборот. Из-за одного бережливого могут погибнуть все.

Вот и выходит, что на Гриньшу полагаться, как прежде, больше нельзя. Вене я верил, понапрасну клепать на человека, тем более на заслуженного разведчика, он ни за что не стал бы. Значит, все так и обстоит, объявилось вдруг в моем разведзвезде слабое звено, и с этим надо что-то делать. Хорошо

еще, время не поджигает, и «солдатский телеграф», и знакомые из штаба дивизии сходятся на одном: в безопасном тылу мы пробудем еще недели две, не меньше.

Самым лучшим выходом было бы перевести Гриньшу назад в пехоту. Правда, нужно тщательнейшим образом продумать, как это устроить. С бухты-барахты, исключительно по моему хотению такие дела не делаются, и начальник надо мной не один. Нужно железно обосновать, отчего я вдруг решил так поступить с одним из лучших разведчиков, не замазанным в серьезных грехах — мелкие прегрешения не в счет. Возможно, придется задействовать и Веню Трофимова. Если объяснить все убедительно и обоснованно, отцы-командиры поймут — они тоже не вчера родились, не позавчера попали на фронт и сами прекрасно знают, к чему может привести, если в разведвзводе завелся желающий побережить себя, драгоценного. Пусть даже бережение это будет неосознанное, от этого не легче — печальный финал окажется тем же самым. И гадай потом, отчего группа не вернулась с задания...

Пороть горячку ни в коем случае не следовало. Как и решать все в одиночку. Как далеко не впервые, следовало все вдумчиво обсудить со старшиной Бельченко. По штатному расписанию командиру разведвзвода не полагался ни помощник, ни заместитель, ни тем более замполит. Однако так уж сложилось, что у меня, едва пришел из пехоты, все эти функции исполнял Бельченко — совершенно неофициально, конечно, далеко не все об этом знали. И это всегда шло на пользу делу: авторитет у него среди разведчиков был большой, стаж и опыт — не в пример моему. Если совсем уж откровенно, это началось

с той самой поры, когда я пришел, согласно новому назначению: обстрелянный фронтовой офицер, вынужденный усваивать премудрости разведки с нуля, и прежний опыт здесь совершенно не годился, что я сам прекрасно понимал. Называя вещи своими именами, какое-то время старшина был для меня, выражаясь по-старорежимному, дядькой. Мягко и ненавязчиво, ни в малейшей степени не ущемляя моего самолюбия, многому научил, немало полезного присоветовал — с глазу на глаз, старательно соблюдая на людях субординацию, да и наедине не переходя неких границ и рамок...

Вот только Бельченко не было в расположении, вообще в городе. С утра поехал километров за пятьдесят в разведотдел армии, получать бесшумные наганы для нас и разведки артполка. Отличные были машинки с постоянными глушителями, они нам потом немало помогли. И вернуться должен был только завтра утром. Что никаких сложностей не сулило, время не поджимало, я же говорил, мы там должны были пробыть еще недели две...

Разговор с Веней произошел примерно в половине первого, а потом я отправился в разведотдел дивизии, где и проторчал чуть ли не до ужина. Накопилась куча текущих дел, мелких, но требовавших неотложных решений. К тому же дважды пришлось ждать, когда освободятся нужные мне люди.

Ну а после ужина отправился на заранее оговоренное свидание с Галочкой, у нее вообще не было никаких дел — откуда они у операционной медсестры при полном отсутствии раненых?

Вот Галочка мне первым делом неприятные новости и выложила — потому что они в первую очередь меня и касались как полностью ответственного за

своих подчиненных. Была тишь, да гладь, да божья благодать — и все в одночасье рухнуло за несколько часов моего отсутствия. Впрочем, и будь я в расположении, кое-чему помешать безусловно не смог бы, ничего о том не зная...

Я и раньше знал, что Гриньша Лезных, ухарь этакий, говоря военным языком, работает на два фронта. И к Аглае клинья бьет старательно, и уже с неделю похаживает к одной молодушке, живущей с матерью в домишке на окраине города. И пару раз оставался там на ночь, благо его вторая симпатия к непорочным цветочкам никак не относилась — у нее имелся полугодовалый ребенок. Про отца было ничего не известно даже нашему главному сплетнику ефрейтору Веденееву, но, судя по срокам, неизвестным папашей был проходящий воин-освободитель — явление на войне нередкое.

Не он один такой хваткий — двое моих орлов точно так же завели в сжатые сроки зазнобушек в городе. Если у солдата, а уж тем более у офицера имелись к тому возможности, дело нехитрое: мужиков в тылу была жуткая нехватка, тем более в этом городе, пережившем немецкую оккупацию, пусть и не такую уж долгую. Все было обставлено без сучка без задоринки: троица улетучивалась после отбоя и исправно прибывала на место к подъему — благо у нас подъем и отбой были понятиями, что уж там, чисто умозрительными и не соблюдались с той строгостью, как в обычной стрелковой части или другом строевом подразделении. Я, разумеется, никаких мер не принимал — не давали повода, и в данном случае они не гимназисты, а я не классный наставник. Некоторые вещи нужно принимать исключительно по-мужски, со вполне понятной мужской солидарностью...

А потом грянуло... Ничего специфически военного в этой ситуации не было, повторение чисто гражданских дел, какие особенно проявляются там, где коллектив в основном женский, как у нас в медсанбате. Бабы потаенные трения, ага. Была у них такая медсестра Клавочка, втайне крепко Аглаю не любившая, но прикидывавшаяся закадычной подругой. Причины для нелюбви и зависти опять-таки были чисто бабские. Клавочка — этакая серая мышка, очень из себя невидная, но и такие сплошь и рядом мужского внимания жаждут. Ну на войне всю работает старая поговорка «С лица воду не пить...» Мужским вниманием, деликатно назовем это так, Клавочка была отнюдь не обделена, все же никак нельзя сказать, что она была страшна как смертный грех. Однако ее, рассказывала Галочка, не на шутку злило, что мужчины ее используют, говоря культурно, чисто утилитарно, а вот красotka Аглая может выбирать-перебирать и крутить самые настоящие романы, очень даже красивые на фоне серых и неприглядных фронтовых будней... Галочку, к слову, она не любила за то же самое, и еще нескольких девушек. Распространенное явление, не в нашем веке появившееся и не в нашем Отечестве...

Короче говоря, она Аглае все и выложила насчет одного из ее кавалеров, оказавшегося двурушником. И вроде бы привела убедительные доказательства. Как уж она обо всем проведала, бог весть — ну, бабы на такие дела способны с мастерством, какого никому Смершу не добиться... Аглая, конечно, взвилась, как многие на ее месте.

А тут и Гриньша заявился. Их разговор никто не слышал, но оказалось, сразу три медички его наблю-

дали из окон — вот так вот случайно оказались у подоконников, ага...

Галочка была одной из трех. И прекрасно поняла, как и две другие, какой характер с ходу принял разговор. Аглая сразу пошла в атаку, а Гриньша, явно такого не ожидавший, растерялся и, очень похоже, мямлил что-то неубедительное. И получил, по единодушному мнению девчонок, что-то вроде: «Меж нами все кончено, чтобы я тебя больше не видела!» Какие именно слова прозвучали, не суть важно, главное, все именно так и выглядело. Аглая, облив изменщика презрением, гордо задрав носик, ушла в здание, а Гриньша, потоптавшись с растерянной улыбочкой, пошел прочь, как побитая собака — «як та псина, когда ее помоями из ведра штурхнут», по выражению хохлушки Оксанки...

Продолжение последовало незамедлительно. Вернувшись в домик, где мы расквартировались, Гриньша с ходу вызвал Колю Бунчука «поговорить с глазу на глаз». Вид у него был самый недоброжелательный, и мои ребята, прекрасно знавшие об этом любовном треугольнике, решили исподтишка понаблюдать. И точно, Гриньша с ходу попытался заехать Коле в глаз, ну а Коля был не из тех, кого можно подловить врасплох и просто так залезть в личность. Сцепились всерьез. Ребята их быстренько растащили, хоть и с некоторым трудом, но справились. Судя по злобным Гриньшиным выкрикам, он был уверен, что это Коля на него из ревности Аглае насплетничал и вообще, следил за ним, когда он ходил к той молодушке. Коля, как мне рассказали свидетели, был такими обвинениями не на шутку изумлен, кричал, что такая дешевка не в его характере, но Гриньше шлея под хвост попала, ничего не хотел слушать, гро-

зил Бунчуку, что еще его урост, казачка мнимого, — он, видите ли, уверен, что Коля никакой не донской казак, а грек мариупольский, а то и вообще жиденок бердичевский, наострившийся выговаривать букву «р» без запинки.

Тут уж Коля на него кинулся, но ребята удержали. И настойчиво посоветовали впредь не пороть горячку из-за бабы, что ни к чему хорошему никогда не приводило, особенно в маленьком коллективе вроде нашего. Столкнувшись со всеобщим осуждением, оба вроде бы присмирели, но все прекрасно знали, что у таких конфликтов бывают продолжения...

Свидание оказалось скомканным. Собственно, никакого свидания и не получилось — узнав об этих скверных новостях, я заторопился в расположение. Галочка все поняла и не обиделась.

Первое, что мне пришло в голову по дороге, — чем бы дело ни кончилось и как бы ни обернулось, этих двоих ни за что нельзя больше назначать в одну группу при будущем поиске в немецких тылах. А нешуточная сложность возникла уже сейчас: оба «дуэлянта» обитали на ограниченном пространстве. Это в пехоте просто: перевел в другой взвод, а то и в другую роту — и перестанут мозолить друг другу глаза. У нас такого не проделаешь...

Разведчики обычно поселяются в одном помещении — и далеко не всегда мне, командиру, достается отдельное. Сейчас все обстояло иначе. Если предстоит разместиться в городе (что выпадает редко), разведчики обустраиваются с максимальным комфортом (впрочем, слово «комфорт» было тогда совершенно не в ходу, говорили просто «уют»).

Сейчас уют имелся, относительный, правда, ну да дареному коню... По сравнению с палаткой — сущий

дворец. Городок этот был небольшой, но старинный, заложенный еще при Иване Грозном. В царские времена был уездным, а при советской власти стал райцентром. Так что невеликий исторический центр с капитальными зданиями дореволюционной постройки имелся и почти не пострадал — ни в сорок первом, ни при освобождении тут не случилось серьезных долгих боев. Ну вот, и мои орлы быстренько наткнулись на подходящий пустовавший дом, одноэтажный, кирпичный, даже с уцелевшими стеклами в окнах. При царе тут размещался писчебумажный магазинчик с гимназическими учебниками и наглядными пособиями. Когда после Гражданской жизнь стала понемногу налаживаться, тут опять-таки устроили книжный магазин, проработавший до прихода немцев. Немцы его заняли под вещевой армейский склад. После освобождения все брошенное добро вывезла наша трофейная команда, и домик долго стоял пустым. Маловат был для размещения даже пехотного взвода полного состава — торговое помещение примерно квадратов на тридцать, кабинетик директора и две комнаты для продавцов и в качестве маленького склада (большой склад помещался во дворе, и мы туда сложили свои пожитки). А вот нам бывший магазин подошел как нельзя лучше: разведчики обосновались в «зале», мне достался кабинетик, а в комнатке для продавцов устроили оружейку. Хоромы! Вот только оба кавалера жили в одном и том же невеликом помещении, что при нынешнем положении дел, очень даже возможно, сулило очередные неприятности...

Я вызвал обоих в кабинетик — поодиночке, понятно. Оба вели себя, в общем, предсказуемо, я с таким поведением не раз сталкивался: оба таращили

невинные глаза и чуточку разными словами гнули одно: те, кто мне о случившемся сообщил, малость преувеличивали — ну, поцапались легонечко, ну, матернули друг друга, ну, сгоряча чуть не заехали друг другу в рожу. Только все это, товарищ командир, — пустячок без продолжения, они ж не кавказцы горячие, чтобы теперь друг другу кровную месть объявлять, все будет путем, как на танцах в городском парке, где присутствует усиленный наряд милиции...

Обоим я не поверил ни на копейку. И довоенный жизненный опыт, и военный подсказывал: такие свары так просто не гаснут — еще и потому, что аппетитное яблочко раздора пребывает тут же, в небольшом отдалении, и отвергнутый воздыхатель прекрасно знает, как обстоят дела у более удачливого соперника. Ну а в военных условиях все еще больше усугубляется — у обоих под рукой оружие, оба навидались крови и смерти, так что бывает всяко. Что далеко ходить, в нашем же арtpолку три недели назад было ЧП: два лейтенанта — не желторотые, повоевавшие! — люто сцепились из-за красивой ветреной связистки вроде Аглаи. И кончилось все тем, что они, отойдя подальше в рощицу, устроили натуральную дуэль на трофейных немецких пистолетах. Артиллеристам практически не выпадает случая попрактиковаться в стрельбе из личного оружия, да и выпили оба изрядно, так что при двух расстрелянных обоймах один не получил ни царапинки, а второму пуля угодила навывлет повыше локтя. Однако обоих закатали в штрафбат, приравняв ранение второго к самострелу. («Мне тут Лермонтовы с Мартыновыми не нужны! — рывкнул командир арtpолка. — Лермонтов хоть хорошие стихи писал, а вы и похабную частушку сочинить не сумеете!»)

Я обоих распушил как следует, не выбирая выражений. Ругал и стыдил: мол, стыдно им, взрослым и обстрелянным, вести себя как школьники, подравшиеся за углом из-за того, кому тискать красивенькую одноклассницу и водить ее в кино. Сказал: я, конечно, докладывать о случившемся никому не буду, но если что-то такое повторится, может ребром встать вопрос о штрафной роте — смотря с какой ноги какое начальство встанет. Оба должны были знать, что я нисколько не преувеличиваю: перед расквартированием в городке с его окрестностями зачитали строгий приказ по дивизии: за любое нарушение дисциплины наказание последует строгое. А замполиты и Смерш здесь, в тылу, бдят почище, чем на передовой...

Оба, пусть и без битья себя в грудь левой пяткой и страшных клятв на Уставе гарнизонной службы, пообещали, что впредь ничего подобного не повторится. Так убедительно излагали, стервецы, хоть сейчас заслуженного артиста РСФСР им присваивай. Коле я, в общем, верил, а вот Гриньше — не особенно. Предположим, Коля своего пока что не добился, но вот Гриньша прочно угодил в отвергнутые, а значит, может еще раз рыпнуться, стать зачинщиком новой свары... Но что было делать? Выругал еще раз, сказал, что, по моему глубокому убеждению, нет такой (матерное обозначение), за которую стоило бы платить штрафной ротой — и скомандовал налево кругом, шагом марш, решив не напрягать более самому мозги, а подождать старшину Бельченко, поскольку одна голова хорошо, а две лучше...

...Для подъема у нас не было ни сигнала, ни бодрого вопля дежурного — у нас вообще-то дежурный имелся, как и полагается даже малочисленному во-

инскому подразделению, без этого нельзя, но подъема он громогласно не объявлял. Просто-напросто подъем был назначен на семь тридцать утра, и в это время всем полагалось проявить сознательность и быть на ногах. Обычно все так и поступали, и я тоже, по въевшейся привычке.

Однако в то утро я подхватился в семь с несколькими минутами — сплю чутко, и меня поднял совершенно нехарактерный шум из «зала»: там громко говорили, ходили, по звукам слышно, уже влезши в сапоги, о чем-то, такое впечатление, спорили. Так что я в темпе оделся, обулся, затянул ремень с портупеей (командир перед подчиненными расхристаным расхаживать не должен) и пошел туда, благо идти было — три метра по коридорчику.

Дела... Все мои орлы, кто-то полностью одетый, кто только в сапогах, шароварах и нательных рубашках, сгрудились вокруг кровати Коли Бунчука. Разведчики, как уже говорилось, всегда стараются наладить максимальный уют. Вот и теперь, благодаря тесным связям с медсанбатом, быстренько провернули недоступный обычной пехоте финт: договорившись частным образом, взяли у них со склада кровати, их там было запасено приличное количество, сначала советскими завхозами, а потом немецкими. И матрацев сыскалось нужное количество, вот простыни с подушками успели оприходовать еще до вселения в лазарет медсанбата, но нам хватило и кроватей с матрацами, чтобы жить со всеми удобствами...

Входя в зал, я еще ухватил обрывок спора: сбегать в медсанбат или пока погодить? И севший, хриплый, не похожий на обычный голос Бунчука:

— Да ладно, ребята, отлежусь. Водочки бы, глядишь, и полегчает...

Услышав мои шаги, орлы расступились. Бунчук так и лежал в исподнем, отодвинув шинель в ноги. Выглядел он скверно: бледный, весь какой-то осунувшийся, лицо словно бы даже исхудавшее, как после недельной голодухи, весь в поту, дышал тяжело, прерывисто и будто бы с немалым трудом, головы не поднимал от свернутой гимнастерки, служившей вместо подушки. На себя не похож, а ведь вчера вечером был — кровь с молоком. Как подменили...

— Коля, что? — спросил я с нешуточной тревогой.

Он попытался улыбнуться, но получилось плохо, этакой гримасой:

— Сам не пойму. Дыхание перехватывает, грудь болит, будто натуго ремнем перетянули, сердце прихватывает. Встать не могу, ноги не держат, тело не слушается...

— Съел что-нибудь? — вслух предположил Петраков.

— Ничего такого особенного, — сказал Бунчук. — Что все ели, то и я. Да и живот не болит ничуть, только грудь стискивает так, что дышать неважно, и сердце жмет... Никогда такого не было...

Никогда прежде я ни с чем подобным не сталкивался. И долго не раздумывая, распорядился:

— Петраков, пулей в медсанбат. Приведи кого-нибудь из фельдшеров.

— Отлежусь... — слабо запротестовал Бунчук.

Ну да, явно не хотел, чтобы его Аглая увидела в столь печальном состоянии, Ромео долбанный...

— Никаких отлеживаний, — твердо сказал я. — Коли уж ты на ноги встать не можешь... Петраков, что стоишь? Бегом марш!

Тот выскочил за дверь. Бунчук попросил закутить, и ему дали, поднесли спичку. Только он после

пары глубоких затяжек погасил папиросу в консервной банке, какие мы все использовали вместо пепельниц. Закашлялся, вымученно улыбнулся:

— Не могу. Больно дым глотать, никогда, такого не было...

— Вот и лежи, — сказал я. — Ничего не понятно, но крепенько тебя прихватило, так что не порохайся.

Дали ему попить — вот пил жадно, немаленькую кружку опростал, и хуже себя от этого не почувствовал. Очень бисто пришла военфельдшер Ксения Тугарина, младший лейтенант медслужбы. Узнав, в чем дело, не сразу убрала с личика удивление, у нее вырвалось:

— А я подумала...

Ну конечно, с неудовольствием отметил я. Вдоволь уже почесали языки от безделья, широко разошелся слухок о разговоре Гриньши с Аглаей, вот явно и подумала, что оба воздыхателя сцепились, и кому-то из них серьезно досталось...

Чтобы медосмотр прошел без излишнего многослюдства, я всех до единого орлов отправил мыться-бриться — самое время. Сам как командир остался, принес Ксане табуретку и присел тут же на другую. За дело она принялась сноровисто, сначала поставила градусник — оказалось, температура нормальная. Взявшись Колю выслушивать, посерьезнела и занималась этим долго. В конце концов расспросила Колю, что он чувствует, и нахмурилась вовсе уж серьезно. Вынула из ушей трубочки и сидела, ничего не предпринимая.

— Ну, что там? — спросил я.

— Ничего не понимаю, — пожалала она плечами. — Никогда с таким не сталкивалась, но тут что-то серьезное. В легких сплошные шумы и хрипы, как при тяжелом воспалении, не первый день длящемся...

— Я ж не простужался даже... — подал голос Бунчук.

— Все равно, — отрезала Ксана. — Шумы и хрипы... И сердечный ритм крайне ненормальный: сердце то заколотится, то словно бы замирает. Товарищ старший лейтенант, пошлите кого-нибудь к нам, пусть придут санитары с носилками. И принесите, пожалуйста, полстакана воды — сердечных капель накапаю.

Бунчук вновь слабо запротестовал, заверяя, что он и так отлежится, но Ксана на него прямо-таки прикрикнула — у фронтовых медичек большой опыт управляться с любым подобием капризов, — и он умолк. Я вышел во двор, вновь послал Петракова в медсанбат и набрал воды из нашего сорокалитрового оцинкованного бидона, который мы с собой возили не первый месяц.

Медсанбат располагался поблизости, так что просить санитарную летучку не было необходимости. Пришли санитары с носилками и забрали Бунчука. А последующие несколько часов после завтрака у нас были до предела заняты серьезными делами. Часов в десять утра вернулся старшина Бельченко с полудюжиной наганов и секретной инструкцией к ним, и все мы отправились на стрельбище за город — это была не такая уж новинка, но раньше с ней никто не имел дела. Стрелять из обычного нагана и снабженного габаритным глушителем — две большие разницы...

Только в шестом часу вечера мы вернулись, и я, хлебнув чайку, отправился в медсанбат. Разместился он не далее полукилометра от нас, в самых что ни на есть комфортных для медиков условиях. Капитальная была больница, дореволюционной постройки: здоровенное трехэтажное здание буквой «Г», два

двухэтажных поменьше, склады, обширный двор, на котором уместился весь автотранспорт медсанбата. До революции больница была отнюдь не только уездного значения: больных возили и из трех прилегающих уездов, вообще чуть ли не со всей губернии, так продолжалось и дальше, когда уезды стали районами, а губерния областью.

Так что здесь была полная возможность не просто пару коек поставить — отвести целую палату для тыловых, чисто гражданских, если можно так выразиться, хворей. На войне они, любой фронтовик вам подтвердит, как-то угасли, что ли, очень редко себя проявляли. Приходилось и на холодной земле спать, разве что шинельку подстелив, и под ливнем оказываться надолго, и на морозе. Но никакая простуда не брала, как и расстройства желудка, зубная боль и еще многие хвори мирного времени, на гражданке неминуемо напрыгнувшие бы в таких условиях, как злая собака из-за угла. Но все же бывало всякое помимо пуль и осколков — аппендицит, скажем, вывих, травмы, ожоги...

Здесьнюю палату для «тыловых» хворей отвели коек на двадцать — и Бунчук оказался там единственным пациентом. Халат мне выдали без малейших проволочек, накинул я его на плечи и поднялся на третий этаж. Как я и думал, Бунчука положили на крайней койке, у стены — и правильно, не лежать же ему посередине, в окружении пустых кроватей. У его постели как раз сидел и старательно выслушивал доктор Фокин, медсанбатовская достопримечательность — он еще в Первую мировую, не окончив университета, ушел на фронт зауряд-врачом, а потом попал на Гражданскую и доучивался уже после. По званию он с начала войны был капитаном, потом

майором — ничем свое имя в медицине не прославил, но опыт получил богатейший.

Только вот сейчас, я с порога заметил, вид, у него был не вполне обычный, словно бы даже чуточку растерянный, никогда его таким не видел. Он мельком глянул на меня, свободной рукой сделал жест, который можно было расценить лишь как указание тихонько посидеть в сторонке, и опять, хмурясь, приложил трубочку к Колиной груди.

Здесь же смирнехонько сидела медсестра, новенькая какая-то, незнакомая, почти девчонка, очень может оказаться, из местных, очень мне не понравилось и ее присутствие, и некая читавшаяся на ее личике боязливая тревога — молодая еще, неопытная, не насмотрелась людских страданий и привыкнуть к ним не успела...

Ее присутствие означало, что у койки Бунчука установили, как это у медиков зовется, постоянный пост — так поступают с особенно тяжелыми, у которых может резко ухудшиться состояние в любой момент, — а если учесть, что Бунчук лежал в полном одиночестве и некому было бы в случае чего позвать врачей, предосторожность нелишняя. Во фронтовых условиях, когда при наплыве раненых медперсонал с ног сбивается, правило это сплошь и рядом не соблюдается, но сейчас другое дело...

Пасмурно у меня стало на душе. Тем более что Коля Бунчук выглядел еще хуже, чем утром, — лежал, закрыв глаза, дыша еще тяжелее и надсаднее, с присвистом и постанывая — и на мое появление не обратил никакого внимания, вообще не пошевелился. Мать твою, что ж это за напасть такая свалилась с ясного неба?

И тут я увидел... Исподняя рубаха у него была задрана до горла по груди и по боку, примерно на

уровне сердца, тянулась розоватая полоса, шириной пальца в три. Похожие порой остаются от ожога — но старого, поджившего. И такие следы всегда бывают неправильной формы, а эту словно провели, приложив портновский сантиметр. Никогда такого не видел. И утром у Коли ничего подобного не было — я бы видел, когда Ксана его выслушивала...

Фокин закончил, повесил слуховые трубочки на шею. Оглянулся на меня, прекрасно понял мой вопрошающий взгляд — с его-то опытом, — однако не произнес ни слова и в коридор выйти не пригласил. Значит, не расположен был со мной говорить, что было довольно необычно, учитывая, что госпиталь почти пуст и срочных дел у него быть не может. Сказал только:

— Поговорите потом с капитаном Климушкиным, он просил зайти...

Тяжело, по-стариковски, поднялся и вышел, бросив напоследок сестричке:

— Поглядывайте, милочка...

Я пересел поближе, на опустевший стул Фокина, и громко позвал:

— Коля!

Он медленно разлепил глаза, нашел меня взглядом, не поворачивая головы (видимо, сил уже не было), попробовал улыбнуться, но не получилось. Почти прошептал:

— Командир... А я вот... Брюхо прикрой, будь другом...

Я осторожно привел в порядок его рубаху, почувствовав пальцами; какой он горячий и словно бы отяжелевший. При этом вблизи хорошо рассмотрел эту странную розоватую полосу, в самом деле, словно по линейке прочерченную и очень прибли-

зительно похожую на ожог — кожа нисколечко не сморщилась, не выглядела безжизненно-глянцевой, как это обычно после ожогов бывает, а я их насмотрелся. Предельно странная полоса, по обоим бокам уходившая под спину, очень может быть, там и продолжавшаяся сплошным кольцом. В жизни такого не видел, больше всего походило, как если бы сильно разведенной розовой акварельной краской провели очень аккуратно...

— Как ты, Коля? — спросил я с нешуточным беспокойством.

Он снова попробовал улыбнуться, и снова не получилось. Проговорил тихо:

— Кончаюсь, командир...

— Чего еще надумал! — сказал я тем преувеличенно бодрым тоном, каким обычно говорят с тяжелоранеными, вообще с теми, чьи дела плохи. Не было вроде бы оснований для такого тона, но настолько не походил лежащий на койке полутруп на Колю Бунчука, еще вчера вечером жизнерадостного, полного сил...

— Точно, отплясался казак... — Он попробовал пошевелиться, но лицо перекосилось, как от внезапной боли.

— Лежи, лежи... — торопливо сказал я. — Болит где-нибудь?

— Дышать совсем не могу, и сердце засекается...

— Лечат?

— Конечно... И уколы, и пить дают что-то противное, и таблетки. Только лучше не делается, только хуже...

— Это пройдет, — сказал я, изо всех сил стараясь не допустить в голосе фальши. — Что я, сам по госпиталям не валялся? Всегда так: сначала хреново,

спасу нет, а потом легчает резко... Я тебе хороших папирос принес, Бельченко в штабе армии через земляков раздобыл полсидора. Надо же, куда ни ткнешься, везде у него земляки, словно вся Вологодчина на наш фронт стянулась... покуришь? Окно откроем, сестричка ругаться не будет, она ж должна понимать, что лежащему маленькую потачку дать можно...

— Не надо, — проговорил Коля. — Как про табак подумаю, тошнит...

И это мне очень не понравилось: когда заядлый курильщик от табачка отказывается — дело плохо...

— Ну я тебе в тумбочку положу, — все так же преувеличенно бодро сказал я. — И спички. А вечером ребята к тебе собираются. Принести чего-нибудь? Веденеев на продскладе консервированный компот раздобыл, немецкий, виноградный. Мы баночку вскрыли — вкуснота...

— Сами съешьте. Какой компот, тут самому аллес компот... Командир, скажите Аглайке, пусть придет, а то так и кончусь, не повидав...

— Обязательно скажу, — заверил я.

И наступило неловкое, тягостное молчание. Совершенно я не представлял, что еще сказать и о чем спросить. И Бунчук молчал. В конце концов я положил в тумбочку пачку папирос, спички, сказал, что прямо сейчас пойду поищу Аглаю, и пошел к выходу. Встав в двери, поманил сестричку, выразительно ей погримасничав. Она поняла и вышла следом за мной в коридор, притворив дверь палаты.

— Давно при нем дежуришь? — тихонько спросил я.

— Почти сразу, как привезли, с утра, товарищ офицер, — ответила она старательно и чуточку робко.

— Как у него состояние?

— Такое, как сейчас, только еще похуже. Доктора ему какие-то процедуры делали, а потом посадили меня дежурить. Еще два раза приходили, делали уколы, микстуры пить давали. Велели бежать за врачом, если будет что-то вроде приступа, только никакого приступа еще не было. Но ему хуже, чем было раньше...

Девчонка показалась мне неглупой, но робела отчаянно — точно, в медсанбате без году неделя, сапожки кирзовые новехонькие, хотя сразу видно, что по ноге...

— Вот и с офицером, что был перед вами, он почти и не говорил, не мог, а он его подробно расспрашивал. Я сначала подумала, он тоже врач — рубаху больному поднял и осматривал. Потом сообразила: нет, посетитель. У врача халат был бы надет в рукава, а у него на плечи наброшен, как у вас.

Совсем интересно. Что это за офицер-посетитель, взявшийся задирать Бунчуку рубаху и осматривать? Не водится такого за посетителями. Да и зачем какому-то офицеру вообще навещать даже не раненого — больного? Стоп! А ведь есть один офицер, от которого такого посещения, да и осмотра можно ждать!

Я хотел спросить, сколько звездочек у того офицера было на погонах, но вовремя спохватился — под накинутом на плечи халатом погон не видно, как не видно у меня сейчас. И решил зайти с другого конца:

— Ты этого офицера хорошо запомнила?

— Ну примерно. — Девчонка явственно стригнула глазами. — Вежливый такой, симпатичный...

— Чуть повыше меня, — сказал я. — Белокурый или, говоря попросту, белобрысый, курносый, — и когда она машинально кивнула, продолжал уже уверенно: — Глаза скорее серые, на лице конопущ-

ки, на правой скуле коротенький, хорошо заметный шрамик...

— В точности такой, — сказала она, еще раз кивнув, и тут же взглянула чуть-чуть тревожно: — А что, с ним не так что-то? Его в палату привела Фаина Дмитриевна, старшая медсестра, начальство маленькое, и потом, когда он ушел, сказала что он из... Смарша. Таким тоном сказала, будто это что-то важное...

— Из Смерша, — поправил я.

— Ага, из Смерша. Я в военных делах еще слабо разбираюсь, три дня как на работу... на службу приняли...

— Местная?

— Ага. Неужели что-то не так?

— Да все так, — сказал я. — Просто мы с ним из разных служб (и ведь если подумать, нисколько не врал). Знал, что и они должны прийти, только не знал кто — ну, хлопот меньше... Значит, тоже расспрашивал и даже осматривал...

— Ага. Только раненый... больной ему не много рассказал, как и вам. Говорил, что ему плохо, что кончается... — Она беспокойно оглянулась на закрытую дверь палаты. — Фаина Дмитриевна говорила, чтоб я от больного не отходила, как солдат на посту.

Она была мне больше не нужна, и я кивнул:

— Ну, если как солдат, не смею задерживать, иди на пост...

Козырнул ей по всем правилам, как старшему по званию, и направился к выходу. Ничегошеньки не понимал. Даже без упоминания о Смерше было бы ясно, что речь может идти только о Вене Тимофееве — описание к нему подходило идеально, особенно когда речь зашла о шрамике. А это оконча-

тельно запутывало дело и ни на что прежнее не было похоже. Учитывая обстоятельства, Веня мог прийти в госпиталь в одном-единственном случае: при подозрении на самострел, но он обязательно предварительно поговорил бы с врачами, рассказавшими бы, что никаким самострелом тут и не пахнет. А он мало того, что пришел, еще и осматривал Бунчука, что вовсе уж не лезло ни в какие ворота. Не считал же он, что врачи ему соврали? Не было у них такой привычки — врать оперуполномоченному Смерша, по какой именно причине кто-то госпитализирован, наоборот, считали бы своим долгом выложить правду на блюдецке...

Так ничего и не понимая, я направился в соседнее двухэтажное здание — уже был здесь у Климушкина и прекрасно помнил, где он помещается. Вряд ли у него сейчас есть какие-то дела — медики пока что в безделье, как и мы, у них осталась горсточка выздоравливающих легкораненых, не требующих особого ухода. Главная задача — удержать их от самовольного ухода в город, легкораненые на полпути к выписке, по себе знаю, так и смотрят, как бы шмыгнуть за ворота с самыми разнообразными целями — госпиталь размещается в тыловом городе с кучей соблазнов, от девушек и спиртного до базарчика с полузабытыми на фронте яствами вроде семечек, пирожков и кваса...

Ну да, вот именно! В одни из ворот браво промаршировал усатый вояка моих лет с левой рукой на перевязи. Конечно, он мог оказаться и пришедшим на перевязку солдатом-пехотинцем, с легкой раной из тех, ради которых в госпиталь не кладут — тем более здесь, вдали от передовой. Вот только я моментально определил наметанным глазом, что

обмундирован он отнюдь не по росту: гимнастерка на детинушке чуть не лопаается по швам, и галифе малы, обтягивали ножищи, словно рейтузы старинного гусара, видно было, что сапоги ему жмут, временами невольно страдальчески морщится, но выскользнул за ворота крайне целеустремленно. Великоватое обмундирование и сапоги обычно стойчески терпят, но от тесного и особенно тесных сапог стараются избавиться при малейшей возможности или не получать вовсе — быстро ноги собьешь. Знакомый фокус: всей палатой прячут форму и сапоги, в которых по очереди ходят в самоволку. Ну мое дело сторона, я ни в госпитале, ни в комендатуре не служу. Сам однажды пользовался этой нехитрой придумкой...

Как я и думал, старший врач капитан медслужбы Климушкин никак не походил на человека, заваленного делами, не было у него особенных дел ввиду ничтожно малого числа пациентов, а пополнять запас медикаментов и оборудования в его задачи не входило, для этого имелись свои снабженцы. Однако и на мающегося бездельем он что-то не походил: смотрел на меня с непонятным выражением интеллигентного лица, и ничуть не походило, что мой визит послужит, называя вещи своими именами, удобным поводом избавления от скуки...

Я не стал ходить вокруг да около, едва усевшись, спросил:

— Что там с моим сержантом, доктор?

Он досадливо поморщился, закурил и не сразу ответил:

— Честно вам признаюсь, товарищ старший лейтенант, с вашим сержантом сплошные непонятности...

— А конкретнее? — спросил я без нажима. — Что считает медицина?

— Медицина не знает, что и думать. В полном тупике медицина... Страшные шумы и хрипы в легких, но абсолютно никаких признаков воспаления легких, тяжелого бронхита, другой какой-нибудь болезни, способной вызвать такие осложнения, нет. Температура нормальная. Нигде он так застудить легкие не мог, Фокин его подробно расспросил. Так что колоть пенициллин и давать другие лекарства нет смысла и надобности. Пару раз дыхание так перехватывало, что пришлось применять кислородную подушку — хорошо еще, нашлась, нас снабжают по полной форме. А параллельно идет серьезное нарушение сердечной деятельности, причем крайне нестандартное, сразу несколько проявлений, обычно присутствующих по отдельности: то жуткая аритмия, то сердце едва ли не останавливается, то колотится так, что едва не выпрыгивает из груди. С самого начала колют сердечные вроде строфантина, но помогает плохо. Фокин даже допускает летальный исход, очень уж с ним плохо, все хуже и хуже становится...

— Значит, диагноз вы не поставили? — спросил я.

— И даже наметок нет, — ответил Климушкин, такое впечатление, избегая встречаться со мной взглядом. — Решительно невозможно поставить хотя бы приблизительный диагноз при столь... непонятных симптомах. Напряжно для опытных врачей, даже униженно чуточку, положи руку на сердце, но так уж обстоит дело. Даже Фокин в растерянности, а у него тридцать лет работы и военным врачом, и гражданским терапевтом. Впрочем, военные дела тут ни при чем, это что-то сугубо гражданское...

— А помните, в январе? — спросил я. — Когда брали тот город, наткнулись солдатики на вагон с немецкими химическими боеприпасами и ухитрились, уж непонятно зачем, один снаряд раскурочить. И загремели к вам все четверо. Тоже сначала никто ничего не понимал, это ж их где-то через полчаса стукнуло...

— Прекрасно помню, — поморщился Климушкин. — Абсолютно ничего похожего. Тех двоих, что схватили меньше отравы, подробно расспросили, искали, за что бы уцепиться, вот и узнали про снаряд, Смерш быстренько проверил тот вагон, так что ясность появилась очень быстро. Здесь ничего похожего. Никаких следов в организме посторонних химических веществ. Или я чего-то не знаю, а пациент умолчал? И где-то все же подцепил нечто, не оставившее следов?

— Вот это вряд ли, — сказал я, чуть подумав. — Негде ему было что-то отравляющее... подцепить.

— Вот видите. Совершеннейший тупик. Фокин говорит: будь мы где-нибудь в столице или в Ленинграде, пошел бы покопаться в библиотеке, вдруг да отыщется в медицинской литературе пример. Только откуда ж в этом городке такие библиотеки? Библиотек тут до войны было две самых обычных, не специализированных, городская и детская, обе немцы разорили, и они до сих пор не работают — восстанавливаются помаленьку, не до книг...

— А эта больница? — вслух предположил я. — Она ведь лет шестьдесят работала, были и архивы, и какая-то медицинская библиотека...

— Вы что, немцев не знаете? Когда они в сорок первом устраивали здесь свой военный госпиталь, все выкинули во двор и сожгли... Так что мы в тупике. —

Он глянул на меня определенно цепко. — Старший лейтенант... Может, тут есть что-то секретное, что от нас утаивают? Всякое бывает на войне... Только в данном случае, согласитесь, излишняя секретность идет только во вред: мы не представляем, что можно сделать, а вашему сержанту становится все хуже и хуже, так что Фокин всерьез опасается...

— Слово офицера, ровным счетом ничего секретного, — сказал я как мог убедительнее — это далось тем более легко, что я нисколько не врал. — Почему вы так решили?

— Потому что за полчаса до вас приходил старший лейтенант Трофимов, уполномоченный Смерша. Он не предупреждал, что нашу беседу следует держать в секрете, как в иных случаях бывало, вот и я не держу... Подробно расспрашивал о больном. Я ему рассказал то же самое, что сейчас вам. Потом он пошел в палату — и даже, как и мне рассказала санитарка, задрал больному рубаху и осматривал, будто заправский врач. Что совсем уж ни в какие ворота не лезет, не припомню за смершевцами такого. Вот если бы подозрение на самострел — другое дело. Этого я навидался, пару раз смершевцы даже раны разбинтовывали или просили это делать врача. Но здесь ведь ничего похожего на самострел и близко нет... Вот я и подумал, грешным делом. Мало ли что могло приключиться — когда разведчики и Смерш.

Сидеть здесь далее было бессмысленно. Я уже хотел перейти к последнему, ради чего пришел, но Климушкин добавил с некоторой в задумчивостью:

— И вот почему я еще подумал, что тут какое-то секретное дело... Вот вы, старший лейтенант, явно моему рассказу удивились, а оперуполномоченный — ни капли. У меня осталось полное впечатление, что

наоборот. Что подтвердилось нечто прекрасно ему известное. Особенно после того, как он вышел из палаты...

Я еще раз заверил его, что ничего секретного тут нет. И заговорил о своем — о том, чтобы он послал Аглаю к Бунчуку, посидеть с ним немножко. По-моему, для него вовсе не оказались неожиданностью ухаживания Бунчука (и Гриньши) за Аглаей — у женщин языки длинные, об этом треугольнике судачил весь медсанбат, точнее, женская его часть, без сомнения, и до врачей долетело. Но никакого неудовольствия Климушкин не выразил, наоборот, отнесся к моему предложению вполне одобрительно, так и сказал: в данном случае приход Аглаи может с точки зрения медицины послужить неплохой психотерапией, а то что-то у больного настроение насквозь похоронное, о чем он открыто говорит...

И я ушел, понимая еще меньше, чем перед приходом в медсанбат. Если допустить самые дурные фантазии, от беспомощности хвататься за любую соломинку, можно выдвинуть блестящую по своему идиотизму версию: что остервеневший Гриньша подсунул удачливому сопернику какой-то яд...

Только это был именно что идиотизм. Такие вещи происходят разве что в приключенческих романах, да и то старинных. Если подойти с позиций житейской практичности, моментально выскочат ехидные вопросы, не оставляющие камня на камне от такого умственного извращения. Где бы в этом городишке Гриньша раздобыл яд? И как бы ухитрился его подсунуть, подлить, подсыпать? При том, что в нашем невеликом расположении все друг у друга на глазах? И главное, как медики не распознали бы отравления чем-то им знакомым? Именно знакомым —

откуда бы взяться тут экзотическому, незнакомому медицине яду? Веня Трофимов рассказывал о случае в соседней дивизии: там в медсанбате все обстояло наоборот — две девки перегрызлись насмерть из-за видного кавалера, и одна другой плеснула в водочку атропина, в больших дозах вызывающего остановку сердца. Но там все обстояло совершенно по-другому: врач попался въедливый и добросовестный, во внезапную смерть от банального сердечного приступа молодой и здоровой, кровь с молоком, девахи не поверил, при вскрытии обнаружили атропин (к тому же многие знали, из-за чего эти медсестры друг друга возненавидели) — ну и закатали под трибунал стерву. Совсем другая история...

Постаравшись пока что выкинуть из головы все тягостные недоумения, я занялся реальным делом: уединились в моем кабинетике со старшиной Бельченко и обстоятельно поговорили о сложившейся в разведвзводе невеселой ситуации. О «треугольнике» говорили менее всего, основной упор сделали на том, что я услышал от оперуполномоченного. Бельченко со мной согласился, он видывал виды почище моего и военную жизнь понимал досконально: на чело-века, нацеленного беречься, полагаться нельзя, тем более в разведке. Следует, действуя без излишней поспешности, мне поговорить обстоятельно с тем же Веней Трофимовым, а то и с начальником дивизионной разведки — он вообще, в отличие от нас троих, кадровый, зацепил Халхин-Гол, всего в этой жизни насмотрелся поболее нас. И без всякого шума перевести Гриньшу в стрелковую роту — там уж он никого особо не подведет и ничего не напортит, потруднее ему там будет беречься, чуть что — боком выйдет. Выражаясь с некоторым цинизмом, пусть

у пехотных командиров голова болит, и у их замполита тоже. Разведка — чересчур тонкий инструмент, чтобы допускать внутренние шатания и душевную слабость у тех, кто там служит...

День прошел, в общем, как обычно, если не считать глубоко захованной тревоги за Бунчука, с которым, в довершение ко всему, творится что-то непонятное. А вот утром...

Утром, после подъема, ко мне пришла Галочка — именно ее Климушкин послал, наверняка без всякой задней мысли — какие тут могут быть задние мысли, даже если он о нас и знал, просто под руку подвернулась раньше других. И я пошел в медсанбат, а сердце так и сжималось...

Коля Бунчук умер под утро: где-то в половине пятого — точное время значилось в бумагах, но мне оно было совершенно ни к чему, я сидел и слушал, как Климушкин подробно рассказывает.

Все произошло очень быстро. Бунчука в очередной раз прихватило, и гораздо сильнее, чем раньше, прав оказался и многоопытный доктор Фокин, кавалер Станислава с мечами и Красного Знамени, и он сам, когда говорил, что кончается, — не болезненный пессимизм это оказался, а предвидение или чутье — говорят, некоторые чуют свою подступающую смерть...

Я, конечно, сходил на него посмотреть. Лицо у него было уже характерного воскового цвета, спокойное, не исхудавшее — он, Климушкин рассказал, почти не ел, лишь пару ложек супу проглатывал, но все равно, прошло слишком мало времени, чтобы голод успел отразиться на внешности. Климушкин еще рассказал, как все произошло: санитарка, уже другая, поопытнее, конечно, чуточку подремывала,

сидя, хотя в том и не признается, но спохватилась, неким сестринским чутьем сообразив, что с больным дело плохо, тут же позвала дежурного врача, он с ходу вколол что-то сердечное, мне по названию незнакомое, но это был уже мартышкин труд — не фиксировалось ни сердцебиения, ни дыхания. Разбуженному доктору Фокину, лечащему врачу, осталось лишь констатировать смерть...

Пробыл я там совсем недолго, разве что немного поговорили с Климушкиным о некоторых неизбежных деталях, не годившихся для передовой, но вполне уместных в тылу, в таком вот городке. И побрел я из огромного здания с настроением насквозь горестным.

И, когда я спускался по ступенькам, во двор влетел «Виллис» со смутно мне знакомым смершевским лейтенантом за рулем и Тимофеевым рядом. Веня выскочил, едва машина затормозила, и кинулся вверх по лестнице, едва кивнув мне, — и лицо у него было какое-то не вполне подходящее к ситуации: напряженное, злое, я бы даже сказал, хищное. Но я, не пытаясь думать еще и над этой несообразностью, пошел к месту нашей постоянной дислокации, где новость встретили, понятно, угрюмо.

Во все последующие часы занимали только две мысли — одна насквозь военного характера, другая, вполне способная прийти в голову и на гражданке, в самое что ни на есть мирное время...

О чисто военной. Только не усматривайте в этом цинизма, ни жестокого юмора. Просто один из тех сложных зигзагов мышления, на которые война богата...

Иногда, в таком вот случае, мертвым легонечко завидуют, самую чуточку. Понимаете, на войне

сплошь и рядом не бывает даже подобия могил. Порой, главным образом при отступлении, их попросту не бывает. Да и братские, когда удостоится хлипенького дощатого обелиска без всяких надписей, со звездочкой, иногда, наспех намалеванной оказавшимся под рукой химическим карандашом, а когда и нет. Гораздо реже бывают могилы, на которых значится имя.

У разведчиков обстоит еще печальнее. Часто, очень часто могил у них нет. Вообще. Ушла группа к немцам в тыл — и пропала, как в воду канула, причем навсегда, и мы никогда уже не узнаем, что с ними случилось. Бывают исключения, но крайне редко. Ну и еще случалось, что немцы перехватывали группу неподалеку от передовой, и те, кто разведчиков отправлял, слышали грохот внезапно вспыхнувшего близкого боя, как правило, жестокого и короткого. Тут уж, хотя никаких подробностей опять-таки неизвестно, присутствует полная ясность: напоролись...

Ну а сержанту Бунчуку нашими трудами достанется персональная могила на взаправдашнем городском кладбище, заложенном еще до революции, и гроб будет, сколоченный в хоззведе, и обелиск из струганых досок с крашенной суриком красной звездочкой, и жестяная табличка с его именем, и даже увеличенная фотография из красноармейской книжки (сплошь и рядом у рядовых они были без фотографий, но то самое гвардейское пижонство требовало обзавестись при первой возможности) — и для фотографии старшина Бельченко сейчас мастерит овальную прикрывашку из авиационного плексигласа с двумя дырочками для гвоздиков, так что непогода ее не возьмет долго. Многие чуточку позавидуют, не зная наперед, как будет с ними самими, если, не дай бог...

А вторая мысль — душу выворачивает от нелепости смерти. Положим, и в мирное время люди на гражданке гибнут очень даже нелепо, но на войне такое цепляет особенно остро. Как это было в прошлом году со старшим сержантом Рахмановым — орел парень, красавец, везучий, за всю войну получивший одно-единственное легкое ранение из тех, с которыми и в медсанбат не кладут, наград полна грудь — но вот сшибла его насмерть на улице такого же городка полуторка с пьяным шофером. Водилу отдали под трибунал, но ничего этим не исправишь и никого не вернешь. И еще пару-тройку подобных случаев помню, но не будем на них отвлекаться...

Похороны назначили на завтрашний полдень, когда должны были сделать гроб, скромный обелиск и выкопать могилу. А часа в три дня у меня неожиданно появился Веня Трофимов и, узнав, что у меня нет никаких срочных дел, закрылся со мной в моем кабинетике. Молчал и курил с непонятным видом, словно решался на что-то — а ведь он был не из нерешительных. И наконец с видом человека, бросающегося очертя голову в холодную воду (или даже взмывающего из окопа по команде к атаке — чересчур уж был напряжен и собран), сказал:

— Костя, ты только не подумай, что я сошел с ума... Я в здравом рассудке, честное слово. Ты наверняка не поверишь, но так оно все и обстоит...

Хорошенькое начало, правда? Я уставился на него в совершеннейшем изумлении, а он, словно свалив с плеч тяжелую ношу, заговорил уже свободнее:

— Понимаешь ли... Я о Бунчуке, он не сам умер, его убили, Костя. И убил его Гришка Лезных...

«Все же какая-то отрава? — промелькнуло у меня в голове. — И на вскрытии обнаружили? Ситуация...»

Так я и спросил:

— Неужели отравы? Мелькала у меня такая дурная мысль...

— Ничего подобного, — сказал он, не отводя взгляда. — Он его не руками или отравой убил, он его убил хомутом. Теперь уже нет никаких сомнений, что твой Гришка — хомутник...

При чем тут хомуты, мне было решительно непонятно. Что такое хомут, я прекрасно знал, до войны телег и грузовых повозок в нашем городе было предостаточно, да и на фронте я их немало повидал, и наших, и немецких. Но у нас хомутов и близко не было. Да и как вообще можно убить хомутом? Разве что по голове шарахнуть, и то вряд ли получится так уж убойно. Да и Климушкин ни о каких травмах головы ни словечком не упоминал...

— Веня, — сказал я осторожно, — ну при чем тут хомуты, если о них и словечком не поминалось? Или все же вскрытие...

— Вскрытие ничего не дало, — поморщился он. — Паралич дыхания, остановка сердца... Правда, в данном случае необъяснимые с точки зрения медицины, но смерть выглядит естественной...

— Выглядит? — с упором повторил я.

— Именно что, — твердо сказал он. — А на самом деле это... Как бы тебе объяснить понятнее... Это такое колдовство, что ли. Только у нас в Сибири таких умельцев, таких людей никогда колдунами не называли, да и сами они от этого слова отрещивались. У нас говорят по-другому: знаткие... Короче говоря, эту штуку у вас в России не знают совершенно, а может, и была давненько, да забыли, умельцы напрочь перевелись. А у нас в Сибири осталось... только очень редко попадается по сравнению со старыми

временами. Как говорил мне один старичок, кое-что интересное знавший, — ремесло такое помаленьку исчезает, как истаивает, и люди такие тоже... Совсем не исчезло, нет...

Тут уж я форменным образом фыркнул:

— Хочешь сказать, Гриньша — колдун?

Ни в какое колдовство я отродясь не верил — бабы сказки. А при слове «колдун» мне представлялся кто-то вроде кудесника с иллюстраций к «Песни о вешем Олеге» — заросший до глаз седой бородищей старик, в диковинной одежде, с посохом...

— Да никакой он не колдун, — досадливо поморщился Веня. — Говорю ж, колдун — это совсем другое. Он хомутник. И положил на Бунчука самый опасный хомут, вызывающий скорую смерть. Хомут — это... как тебе объяснить... Такой невидимый обруч, что ли. Вот так... — Он поднял руку к груди, но тут же отдернул, словно обжегся, конфузливо улыбнулся: — У тебя карандаш и бумага найдутся?

Я положил перед ним чистый блокнот и очиненный карандаш, и Веня принялся что-то энергично черкать. А я смотрел на него и ничего не понимал. Для глупых розыгрышей чересчур серьезный был парень. И на сумасшедшего никак не походил. Правда, я их повидал мало — нашего городского безобидного придурка Кузёмку-Дерганого, немецкого солдата, сошедшего с ума после обстрела термитными снарядами «катюш», того психа на железнодорожном вокзале в Орле. Ни на кого из них Веня не походил: не махал руками и не брызгал слюной, разговаривал здраво и рассудительно, держался спокойно. Но это ни о чем еще не говорило, слышал я, и тихие сумасшедшие бывают...

Наконец он закончил, корявенько, но узнаваемо изобразил контур человеческой фигуры и решительно перечеркнул ее горизонтальными линиями: на уровне лица, груди, живота, паха.

— Вот так хомуты и надевают, — сказал он, подняв на меня глаза. — Когда на губу, когда на живот, на мужское достоинство. Это еще, если можно так выразиться, второсортные. Смерти от них не выйдет, но неудобства будет в избытке. А вот если на сердце — тут уж скорая смерть. Случалось, и на скотину надевали. Я сам видел в детстве: стоит конь, а пуздрю у него... пузо по-сибирски, раздуло невероятно, так, что ни на какую болезнь не похоже, и уж никак не на беременность, потому что конь был жеребец. Да что там, батя мне рассказывал про одного деда, который забавы ради хомут на редьку надел. Почернела редька, ссохлась... Иногда на теле не остается никаких следов, а иногда бывает след, в точности как у Бунчука...

Я присмотрелся к нему внимательно. Он был чертовски серьезен, совершенно как в последний раз, когда обсуждали с ним и с одним его сослуживцем предстоящий хитрый разведпоиск под моим началом.

— Но он же никакой не старик, наших лет... — Я, конечно, в эти бабьи сказки не верил, но по привычке без замечаний обойтись не мог там, где мне виделась несообразность.

— А это от возраста не зависит, — сказал Веня. — Всякое бывает. Когда я еще был пацаном, жила у нас в деревне... да и сейчас живет Кланька Шишигина, так ей и двадцати не было, когда первый раз... отметилась. Тетка у нее была хомутница, это все знали, но никто не знал, что она Кланьку обучила, неза-

долго до смерти, надо полагать. А потом случилось однажды... Приставал к ней один парень, а она его видеть не могла — никого у нее другого на сердце не было, просто парень этот ей был категорически не по вкусу. Отшивала, как могла, сначала по-хорошему, потом грозить начала — так туманно, что он всерьез и не принял, и однажды он ее то ли подзажал грубо, то ли вообще завалить хотел на заимке. А назавтра у него верхнюю губу так раздуло, будто три осы ужалили, подбородок закрывала, распухла страшно, куска в рот не положить. Тут-то и сообразили: это ж у Кланьки теткин уменья, они самые, сомнений нет! Отец у него был мужик умный, врезал подзатыльник и орал: иди к Кланьке, горе луковое, в ногах валяйся, пока хуже не изладила! Мать поддакивала. Ну он и пошел. Что там у них происходило, в точности неизвестно, валялся он в ногах или нет, дело темное, только часа через два у него все прошло начисто, сняла... С тех пор он Кланьку обходил десятой дорогой, да и остальные парни с ней обращались со всей возможной галантностью. Девка была веселая, от парней не шарахалась, с одним закрутила, а там и за него вышла. Мы с пацанами сами видели Гераську с раздутой губой, когда он к Кланьке шел. И слышали, как взрослые парни с оглядкой посмеивались: отважный у нас Серега, не побоялся на хомутнице жениться. Это если по пьянке ее за волосы оттащат или устроит измену — страшно подумать, что Кланька выкинуть может... Только ничего такого не случилось, жили они дружно, да Серега был и не любитель чрезмерно закладывать или жену бить, и налево не бегал...

— Подожди, — сказал я. — Получается, тот, кто этот твой хомут наложил, и снять сможет?

Нет, я ему не верил. Просто по привычке разведчика высматривал и вычислял в рассказанном некую систему — пусть даже в таком баснословном.

— Бывает по-всякому, — сказал Веня. — Иногда хомут может снять тот, кто наложил. А иногда сам не может, нужен другой умелец, другой знаткой. Почему так обстоит, сам понимаешь, никто не знает...

Я с неудовольствием подумал: какие бы туры на колесах он ни плел, его рассказ подчинялся определенной строгой логике — а ведь сумасшедшие, говорят, логики лишены напрочь...

— Вот такие дела, — сказал Веня. — У тебя под боком — натуральный хомутник. Убивший из ревности хорошего парня. И убил, паскуда, так, что доказать ничего нельзя. Кто у нас это всерьез примет? Чтобы верить в хомуты, нужно родиться в сибирской глухомани, кое-что услышать от надежных людей, которым можно верить на все сто, а что-то и повидать самому... Вот ты ведь не веришь?

Я помедлил, но все же решился сказать честно:

— Извини, не верю. Почему об этом ничего не писали? Почему ученые не заинтересовались?

Веня усмехнулся определенно покровительственно, смотрел так, как я и сам смотрел бы на несмышлениша, брякнувшего что-то невероятно глупое, с точки зрения взрослого серьезного человека.

— Костя, ты человек сугубо городской, городского воспитания и круга знаний, жизненных представлений... Ты и в ваших-то, российских деревушках поглуше вряд ли бывал, а уж в Сибири и вовсе не был... Так ведь?

— Ну, так... — сказал я.

— Вот видишь... Чтобы писать о таких вещах, нужно, чтобы кто-нибудь рассказал. А о таких вещах

никто со сторонними людьми откровенничать не будет — хоть с пишущими, хоть с учеными. Ученые, если и соберутся в глушь, все подобные рассказы расценят как сказки, народное творчество, фольклор, и пойдут они по ведомству науки этнографии. Голову готов прозакладывать, среди твоих орлов родом из мест поглуше, вроде вологжанина Бельченко или муромца Топалова, найдутся такие, что отнесутся со всей серьезностью, потому что в их родных краях, я краем уха слышал, до сих пор остаточки кое-каких умений сохранились. Это в городах, очень похоже, все давным-давно исчезло начисто. — Глядя куда-то сквозь меня, он повторил с таким видом, словно проносил крепко зазубренные чужие слова: — Ремесло такое помаленьку исчезает, и люди такие тоже...

Повисло недолгое тяжелое молчание. А потом — главным образом для того, чтобы это молчание не затягивать, я спросил:

— И что ты намерен делать?

Он грустно усмехнулся:

— А что я могу сделать? К начальству с этим не пойдешь, и пытаться нечего. Убрать его с глаз долой в пехоту — вот и все, что тут можно сделать. Я поговорил откровенно... ну почти откровенно, со своим стажером. Он из Забайкалья, тоже глухие места. У них там про хомуты не слышали, но кое о чем он наслушался, и то и навидался, хотя помалкивает. Разговор был не напрямую, примерно на таком уровне: «А вот у нас старики говорили то-то. А у вас?» И все равно осталось впечатление: кое к чему он относится гораздо серьезнее, чем иные горожане. Только и это по большому счету ничем не поможет. Грохнуть бы мерзавца, — сказал он со злой мечтательностью.

— Ты серьезно? — спросил я.

— А почему бы и нет? Он же убийца, разве нет? Случалось, таких и грохали. Старший брат мне рассказывал: на одного нашего односельчанина году в двадцать втором наложили хомут — не смертельный, тот, после которого мужик становится жене без надобности. Какая-то там была давняя история — двое ухлестывали за одной, она выбрала одного, а второй, отвергнутый, как раз и был хомутник. Очень похоже на нашу историю, верно? Только хомут был другой. Ну «захомутанный» нашел бабку не из нашего села, из соседнего, она и сняла. Не каждый знаткой может снять, и не всякий хомут. Вот... А через неделю хомутник — охотник был — ушел в тайгу, да так и не вернулся. Кто его упокоил, не сомневались... Вот и этого бы так... Не здесь, конечно, на передке. Там такое проделать гораздо проще. Немецкого оружия навалом, вот и получится жертва немецкого снайпера или диверсантов. Тебе что, за Бунчука отомстить не хочется, если другого варианта, нет? Так-таки и не хотелось бы?

— Предположим, и хотелось бы, — почти не раздумывая, сказал я. — Будь я стопроцентно уверен, что это убийство. А сейчас такой уверенности нет. То, что медицина руками в тупике разводит, еще не доказательство. Мало ли как объяснить можно... А то, что ты рассказал, извини великодушно, больше на сказку похоже.

— Ты вот о чем подумай, — сказал Веня, вроде бы ничем не проявлявший обиды или раздражения. — Он же через кровь переступил. Вполне возможно, впервые в жизни. Через следующую переступить будет уже легче. Доводилось читать про индийских тигров-людоедов? Та же история: если тигр раз попро-

бывал человечины, людоедом и станет. И через кого еще переступит, коли уж с рук распрекрасно сходит?

— Не могу поверить... — сказал я.

— Материалист твердокаменный?

— Не вижу в этом ничего стыдного, — ответил я суховато. — До сих пор не случалось ничего, что могло бы меня в твердокаменном материализме пошатнуть.

— Я и говорю — городские... Знаешь, я, может, и неосмотрительно поступил... Перехватил твоего Гриньшу, когда он возвращался из хозвзвода, утряся все с гробом и памятникком, и поговорил с ним откровенно — про сибирские дела, про хомуты, про то, что случай с Бунчуком мне как две капли воды классический хомут напоминает... Дал ему понять, что насквозь его вижу и кое в чем разбираюсь не хуже его... Душа такого разговора просила...

— А он что? — с любопытством спросил я.

— Да дурачка сыграл, — криво усмехнулся Веня. — Бравого солдата Швейка. Глаза на меня тарасил, как деревенский дурень на арифмометр, плечами пожимал, лопотал, мол, ничегошеньки не понимает и ни о каких таких «поповских сказках» в жизни не слыхивал, атеист-комсомолец, довоенный комсорг лесничества... — Веня поднял на меня злые, упрямые глаза. — Только не со мной ему в такие игры играть! Я своим делом занимаюсь не первый год, немало допросов провел, в том числе и с битыми волками, которых прилежно учили на допросах держаться — не уголовная шпана учила, а государство. Есть опыт определить, когда человек говорит правду, а когда брешет, и что он в данный конкретный момент чувствует. Чем хочешь ручаюсь, Гриньша не особенно и умело валял ванечку, а сам

прекрасно понимал, в чем дело. Он же не актер, привычки лицедействовать нет, к тому же я его врасплох застал, огорошил...

Я усмехнулся:

— В таком случае он должен был прекрасно понимать, что ничегошеньки ты ему сделать не можешь. Я не говорю, что тебе верю, я просто говорю, что любой неглупый человек в такой ситуации должен понимать: это насквозь неофициальный разговор, да что там, сотрясение воздуха. А Гриньша очень даже не глуп, иначе в разведку не попал бы...

— Ну да, конечно, — усмехнулся Веня все так же криво, вымученно. — Я и не рассчитывал, что он размякнет и во всем признается под протокол. Просто хотелось посмотреть, как он себя поведет, если застанешь его врасплох, ошеломишь. И не прогадал! Он, конечно, быстро взял себя в руки, но поначалу был не на шутку растерян, не сразу и подобрал нужную линию поведения, не сразу стал глаза тарашить, как дитяtko невинное. Это уже потом он сделал вид, что крайне удивлен такой необычной темой для беседы, а первое время был именно что растерян, из колеи выбит, врасплох захвачен. Никакой ошибки. Он же до этого со мной практически не пересекался, так, мельком виделись пару раз. Не знал, что я тоже сибиряк, что обитал недалеко, по сибирским меркам, от его родных мест, что в хомутах и хомутниках разбираюсь досконально, куда там городским и тем, кто по эту сторону Урала обитает... Он это сделал!

А потом, полное впечатление, у него напрочь пропал прежний пыл — ссутулился угрюмо, помолчал и наконец, не встречаясь со мной взглядом, промолвил:

— Все равно нет никакой возможности его прижать к стенке. Мое начальство меня на смех поднимет, если я зайнусь... Даже мой стажер не до конца верит, считает: раньше, в старые времена, такое и было, но давным-давно пропало, кончилось, вымерло, как мамонты, а ты тем более не веришь, тут и гадать нечего, и ничем тебя не убедить. Извини уж, что время отнял чепухой...

Улыбнувшись как-то жалко, он поднялся (словно бы отяжелев вдруг), нахлобучил фуражку и вышел, оставив меня в тяжелых раздумьях. Разумеется, я ему не верил ни капли. Если уж допустить некоторый полет фантазии, можно допустить, что в старые времена, без должного развития науки и техники, нечто, что с натяжкой можно поименовать «колдовством», и в самом деле имело место в глухих уголках, но потом само собой сошло на нет. Как мамонты или динозавры.

Веня, парень мозговитый, думается мне, совершил одну ошибку: сделал одно-единственное насквозь баснословное, ошибочное допущение, а уж вокруг него нагромоздил логически непротиворечивую версию, вполне даже убедительную... для фантазеров. Такое случается с психически больными, я слышал от врачей. И со вполне здоровыми тоже — именно что с сыщиками, пользуясь старорежимным выражением, вроде Трофимова: неверное допущение и хорошо проработанная версия, ошибочная и заводящая в тупик. Вроде того случая в прошлом году, когда кто-то в дивизионной разведке решил, что немцы на нашем участке готовят химическую атаку. В конце концов точно установили, что там нет никаких вагонов с химическими снарядами, но, выясняя это, погибли двое отличных парней. И никак нельзя

того майора виноватить: на войне такое случается, неподтвержденные данные, требующие серьезной и скрупулезной проверки...

И ничего тут не предпримешь. Не идти же к начальству Тимофеева с этой историей? Дело даже не в том, что это было бы похоже на стук — могут и не отнестись к моим словам серьезно. Веня на хорошем счету, опытный кадр. Легонькие бзики у каждого случаются. Будем надеяться, сам поймет, что тянет пуштышку, и придет в норму.

Часа через два мы хоронили Колю Бунчука. Все прошло нормально, первый раз на моей памяти разведчик достаивался таких похорон. Были на них мы, и Тимофеев тоже. Пришла Аглая, не рыдала и не убивалась, конечно, но пару слезинок сронила, как-никак Бунчук ей был не чужой, хотя ничего там не успело завязаться, она, в общем, по характеру была не стерва, во многих отношениях путная девушка.

Одно только вызвало мое потаенное неудовольствие: Веня форменным образом не сводил глаз с Гриньши, смотрел на него словно бы с неким значением. А тот старательно избегал встречаться с Веней взглядом, что было объяснимо и понятно, учитывая, какой разговор между ними произошел. Начни меня кто-то обвинять в злом колдовстве, я бы тоже старался держаться от него подальше...

А назавтра утром у меня в кабинетике появился тот молодой офицер, что привозил вчера Тимофеева в госпиталь, лобастый такой крепыш, выглядевший обстрелянным. Четко козырнул:

— Лейтенант Чебыкин. Товарищ старший лейтенант, если у вас нет срочных служебных дел, может, поедете со мной в госпиталь? Старший лейтенант Тимофеев очень просит вас приехать...

— А что с ним такое? — удивился я.

— Плохо с ним... — Лобастый отвел глаза.

До госпиталя и пешком-то было всего ничего, а на «Виллисе» и вовсе обернулись моментально, так что я не успел задать ни одного вопроса — да и не собирался, откровенно говоря. Никаких особенных мыслей в голове не было, разве что тягостное недоумение. Оно усилилось еще больше, когда я оказался в госпитале...

Веня лежал в той самой палате, где умер Бунчук — хорошо еще, не на той же самой койке, в другом ряду, однако тоже первой от двери, — как и Бунчук, Веня оказался единственным здесь. У изголовья сидела санитарка, которую я пару раз видел в госпитале, но как зовут, не знал. Что же, снова постоянный пост? Походило на то.

Веня, что характерно, крайне напомнил мне Бунчука — словно бы чуточку исхудавший в одночасье, с ввалившимися щеками, мокрыми от пота волосами. Разве что поднял голову от подушки, слабо усмехнулся, тут же покривившись, словно от боли:

— Пришел... Хорошо. Вера, выйди...

— Веня, доктор распорядился безотлучно...

— Сказал, выйди! — повысил голос Тимофеев. — Я ж буду не один...

Став свидетелем этого короткого диалога, я присмотрелся к ней внимательнее и сделал определенные выводы. На щеках у нее виднелись две подсохшие дорожки от слез, симпатичное личико было крайне горестным. А ведь казалась опытной, насмотревшейся на раны и смерть. Ну, и то, что они называли друг друга по имени. Не требовалось особой проницательности, чтобы с маху догадаться, какие отношения их связывают. Ну, Веня, сугубый конспи-

ратор — Галочка, знавшая все сердечные расклады сослуживиц, ни о чем таком словечком не упомянула...

Она вышла нехотя. Я уселся на ее шаткий стул и спросил:

— Что, Веня?

— Что и требовалось доказать... — сказал он с непонятной гримасой, даже отдаленно не похожей на улыбку. — Он и меня достал, сволочь такая, сам понимаешь кто...

— Ты что, хочешь сказать...

С той же болезненной гримасой вместо улыбки Веня согнул руки в локтях (что, сразу видно, стоило ему немалых усилий), подцепил большими пальцами подол нательной рубахи и поднял ее до горла. Меня прямо-таки прошибло нешуточное удивление: по его груди и бокам тянулась та же розовая полоса, ничуть не похожая на свежий ожог, точно так же уходившая на спину — в точности как у Бунчука...

— Вот такие дела, — сказал Веня, кривя бледные губы. — Сам виноват, не нужно было с ним открытым текстом, погорячился, бдительность потерял... И ведь все отлично для него складывается. Нет вокруг никого, кто всерьез поверил бы в хомуты, даже мой стажер, по глазам видно, не до конца верит, а о тебе и речи нет, нисколько не веришь... Да и поверил бы кто, что тут сделаешь? Привести под пистолетом этого гада, чтобы снял хомут? А кто определит, что он в самом деле снимает, а не бормочет всякую чушь для отвода глаз? Я и сам не определяю, не умею, и никто не умеет. А если он из тех, кто хомуты сам снимать не умеет? Где ж умельца найти? Будь это в наших местах, а так... Капут кранкен... Нелепо как все вышло... — Он уперся в меня потухшим взгля-

дом. — Иди уж, Костя, что тебе тут торчать... Ничего не попишешь...

И такая властность, смешанная, вот странность, с полной безнадежностью, звучала в его слабом голосе, что ноги сами подняли меня с шаткого стула. Неловко потоптавшись, я спросил:

— Может, принести что?

— Да ну, не трудись. Наши много чего принесли. — Он показал глазами на тумбочку. — Только в рот ничего не лезет, и курить не могу... Иди уж, не поминай лихом...

И я вышел, двигаясь как-то механически, будто заводная кукла. У двери маялась Верочка, выглядевшая еще более потерянной. Я молча мотнул головой, она скрылась в палате, и я побрел по широкому и высокому пустому коридору, где самые осторожные шаги отдавались неприятным эхом. Голова была совершенно пустая, как этот коридор. Зайти к Климушкину? А смысл? Наверняка я услышу то же самое, что в прошлый раз, ничегошеньки это не прояснит и ничему не поможет, сразу можно сказать...

Сомнения разрешились сами собой: в коридоре появился доктор Фокин и направился в мою сторону, увидел меня, конечно. Я ему четко козырнул, как и полагалось приветствовать старшего по званию. Он ответил кивком — он ведь был без фуражки. Остановился передо мной, как обычно, импозантный: волосы и борода с проседью тщательно причесаны, белоснежный халат без единой морщинки, на шее рядом со слуховыми трубочками — знаменитое пенсне на черном крученом шнурке, оправа, как гласит всезнающая молва, не позолоченная, а золотая, вроде бы подарок самого Фрунзе, хотя точно неиз-

вестно. Подтянутый, прямой как палка — в нем всегда было много от «военной косточки».

— Больного навещали, я так понимаю? Больше вам некуда и было приходить, палаты пусты...

— Так точно, — ответил я. — Как с ним обстоит, товарищ майор медицинской службы? (Он предпочитал именно такое обращение «доктору».)

— Обстоит... Он ваш друг?

— Да, — сказал я.

Другом мне Веня не был, не более чем добрым товарищем, но я не стал углубляться в такие тонкости, допустил маленькую невинную ложь...

— Плохо с ним обстоит. Нарушения дыхания и сердечной деятельности, иногда достигающие критического состояния. Разумеется, делаем все, что в наших силах — кислород, строфантин, другие лекарства. Но помогает плохо, прогноз, не буду скрывать, неблагоприятный...

— А эта полоса у него на груди?

— Никакой ясности, — сказал доктор, как мне показалось, с досадой. — Когда он к нам поступил, ее не было, появилась вскоре. Больной говорил, что никаких ожогов не было, да и не похоже это на ожог. И ни на одно известное кожное заболевание не похоже. Загадка...

— А температура, нормальная?

— Совершенно. Вообще, если не считать нарушений дыхания и сердцебиения, никаких других признаков болезненного состояния организма нет...

— А можно сказать, что этот случай очень похож на то, что произошло с сержантом Бунчуком?

Видно было, что этот вопрос ему неприятен. Он помолчал, но все же ответил с видимой неохотой:

— Не просто похож — похож как две капли воды. Что окончательно запутывает дело...

Я все же решился спросить о том, во что сам не верил:

— Скажите, а может это оказаться... какая-то заразная болезнь?

— Абсурд! — энергично возразил Фокин. — Дело даже не в том, что медицине такая болезнь неизвестна. Будь это что-то заразное, заболели бы в первую очередь те, кто плотно контактировал с сержантом Бунчуком, — ваши разведчики, вы сами. Но у вас ведь ничего подобного нет. И среди сослуживцев Трофимова, с которыми он тесно общался, нет...

— Вот именно, — сказал я. — Простите, товарищ майор медицинской службы, я и сам понимаю, что сболтнул, не подумавши...

— Вообще-то такое встречается не впервые — непонятная, неизвестная до того медикам болезнь, — сказал Фокин так, словно оправдывался. — Вы ведь знаете про «испанку»? Вот видите. Только эта эпидемии случилась до вашего рождения, а я лечил больных... точнее, почти безуспешно пытался лечить, все тогдашние медикаменты не помогали, а пенициллина тогда еще не было. Ясно было, что это не проявлявшаяся ранее разновидность гриппа, но это ничего не давало. Эпидемия свирепствовала неполный год, унесла миллионы жизней, а потом совершенно необъяснимо сошла на нет и более четверти века не дает о себе знать. И это не единственный пример. Было в старинные времена еще несколько случаев, подробно описанных в тогдашних хрониках: неизвестно откуда появлялась неизвестная прежде болезнь, собирала много человеческих жизней, а потом так же необъяснимо исчезала на сотни лет

и никогда не возвращалась. Очень большая и любопытная тема, но вам это вряд ли интересно, по вашему лицу видно...

Дело ясное: он старался защитить передо мной репутацию не просто врачей медсанбата вкупе со своей собственной — медицины как науки. На его месте я поступил бы точно так же. Не впервые в истории медицины — и точка... Говорить с ним больше было не о чем, и я попрощался (что он явно воспринял с некоторым облегчением).

Лейтенант-стажер курил у машины — как мне показалось, чуточку нервно. Спросил:

— Я вас отвезу, товарищ старший лейтенант?

— Не стоит, тут два шага, — сказал я, не раздумывая. — Погода прекрасная, пройдуся... — и не удержался: — Послушайте, лейтенант... Что вы обо всем этом думаете? Про то, что случилось с Трофимовым... и сержантом Бунчуком? Вы же знаете о Бунчуке, вы вчера привозили к нему Трофимова...

Какое-то время он молчал, показалось, так и не ответит. А я пошел дальше, сказал довольно бесстрастно:

— Знаете, Трофимов мне рассказывал поразительные вещи о... некоторых сибирских... обычаях. Мне это кажется бабьими сказками, но истории интересные... и кое-чем, хотя это странно, похожи на правду. У вас есть какое-то свое мнение? Вы им вовсе не обязаны делиться, я вам не начальник, а вы мне не подчиненный, по разным ведомствам служим. Ну а все же?

— Как вам сказать, товарищ старший лейтенант... Когда один случай — это и есть случай, а два идентичных случая подряд — это уже что-то другое. Сам старший лейтенант Трофимов меня так учил...

Глаза у него не бегали, но он старательно избегал встречаться взглядом. И было ясно: настаивая на продолжении этого разговора, я буду выглядеть чертовски глупо. В конце концов, он не обязан делиться со мной своими мыслями и соображениями, особенно теми, что не имеют никакого отношения к обычным военным делам...

А потому я кивнул на прощание и пошел за ворота. В голове стоял совершеннейший сумбур. Ни в какое сибирское колдовство я по-прежнему не верил. Но имела место крайне неприятная вещь: стоило на секунду допустить, что так оно и есть, что это не сказки, а чистая правда, все случившееся, абсолютно все укладывалось в эту версию, как патроны в обойму. Это раздражало больше всего. И еще то, что я, как ни ломал голову, не мог придумать, что тут можно сделать и нужно ли что-то делать вообще?

Рассказать все Фокину? Откровенно поднимет на смех. Он такой же городской, как и я, мало того — потомственный питерский интеллигент из тех, что остаются атеистами, твердокаменными материалистами.

Поговорить с теми, кто, как утверждал Веня, склонны гораздо более серьезно отнестись к «бабым сказкам», потому что родом из мест, кое в чем крайне похожих на сибирскую глухомань — со старшиной Бельченко и Топаловым? И что это даст? Предположим, я под угрозой всяческих кар (да что там, под дулом пистолета) приведу в палату к Вене Гриньшу — исключительно для того, чтобы успокоить Веню и придать бодрости, накажу Гриньше, чтобы разыграл комедию «снятия хомута»? А где гарантия, что комедия эта, доморощенная психотерапия, поможет?

Так я ничего толкового не придумал. И, вернувшись в расположение, с превеликим удовольствием уселся со своими орлами выпить умеренно водочки по крайне печальному поводу — помянуть Бунчука. Вчера мы этого сделать не смогли: еще до похорон начальник дивизионной разведки майор Студницкий твердо сказал: он, конечно, не чурбан бездушный и все понимает, ему самому хорошего разведчика и отличного парня Колю Бунчука чертовски жаль, но мы не должны выпить ни грамма, остаться трезвехонькими ввиду недвусмысленного приказа армейского начальства, исключающего подобные вольности. А поскольку он, как только что говорилось, не чурбан бесчувственный, завтра (то бишь сегодня) даст нам возможность помянуть боевого товарища, как полагается.

Так что мы поехали на стрельбище и до позднего вечера (и в светлое время, и в темноте) упражнялись с теми самыми бесшумными наганами — стреляли из разных положений, с разных дистанций, поодиночке и группами, с применением самодельных манекенов, тех, на которых уже не раз отрабатывали и снятие часовых, и кое-что из рукопашной. Студницкий в подробности не вдавался, но и так было ясно: после того как дивизию вернут на передовую, первый же разведпоиск состоится с этими наганами. То ли задача именно этого требует, то ли нужно испытать новое оружие в боевой обстановке — кто бы нас раньше времени посвящал в такие детали...

Когда я пришел, все было уже готово, импровизированный стол накрыт, водочка в наличии, добытая моими орлами закуска побогаче обычного солдатского пайка — разведка такие вещи умеет организовывать в лучшем виде.

Заранее пригласили Аглаю, и она пришла, отпросилась — доктор Федоскин тоже был не чурбан бесчувственный, кое-что знал, а главное, заняться девушкам было решительно нечем. Пришли и двое корешей Бунчука из разведки арtpолка. Как всегда бывает в таких случаях, первое время опрокидывали стопари и закусывали в совершеннейшем молчании. Вслух об этом не говорилось, но угрюмости против обычного прибавляло еще и то, что смерть Бунчуку выпала какая-то насквозь нелепая, абсолютно непонятная. Не вернись он из разведпоиска, погибни на фронтовых дорогах от пули или осколка, было бы, конечно, ничуть не веселее, но гораздо привычнее, что ли. Тот случай, когда категорически не годится обычное военное присловье: «С каждым может случиться...»

Сам не знаю, что меня на это толкнуло, но я с самого начала украдкой следил за Гриньшей, непонятно зачем. Держался он как обычно, правда, мне понемногу стало всерьез казаться, что он мрачен далеко не так, как остальные, словно бы вообще нисколько не печалится. Вообще-то это было чисто по-человечески понятно: они с Колей с некоторых пор стали соперниками в борьбе за благосклонность Аглаи, а с недавнего времени стали натуральными смертельными врагами. Многих на месте Гриньши смерть недруга нисколько не опечалила бы, что уж там, такова человеческая натура. Правда, ничуть не походило на то, что Колькина смерть позволит Гриньше добиться успеха — Аглая с самого начала, как только пришла, держалась так, словно Гриньши не существует вовсе, и вместо него — пустое место...

И вот, когда, конечно, не надрались (все пить умели и меру свою знали тугу), но, безусловно, были

вполпьяна, меня будто черт дернул. В голове назойливо вертелась всякая чепуха насчет смерти Бунчука и той же непонятной хвори, неожиданно свалившей Веньку Тимофеева. Ни в какое сибирское колдовство я по-прежнему не верил, но чертовски хотелось кое-что прокачать по старой привычке не оставлять неразвязанных узелочков, о чем бы ни шла речь. Проще говоря, во мне все сильнее и сильнее крепло желание независимо от того, во что я верю, а во что нет, посмотреть, как Гриньша отреагирует, услышав от меня кое-что, чего безусловно не ожидает услышать. Что он обо мне подумает, меня не заботило совершенно. Переживу, мне с ним не детей крестить, и в любом случае я твердо решил от него в скором времени избавиться...

Когда я решился, не раздумывая, встал, подошел к Гриньше, положил ему руку на сильное плечо и негромко сказал приказным тоном:

— Выйдем-ка покурим.

Он пошел за мной, не прекословя. Никто не обратил внимания, разве что ближайшие покосились недоуменно. Мы вышли в огороженный покосившимся забором двор с лежащими воротами, где стояла наша полуторка, а из архитектурных украшений имелся лишь деревянный сортир. Достали каждый свой табачок. Я дал ему сделать несколько затяжек. Неуверенности не чувствовал — наметил начерно разговор. Правда, чуть напрягало от нелепости ситуации — как будто я и в самом деле верил, будто... И я сказал:

— Не можешь успокоиться, Гриньша? До Тимофеева добрался? Испугался, что он всерьез отнесется и что-то нехорошее для тебя придумает, надо полагать?

Как я и ожидал, он уставился на меня с видом самым недоуменным, будто баран из поговорки на новые ворота. Пожал плечами:

— Ты о чем, командир?

— Сам прекрасно знаешь, — сказал я. — О хомутах.

— Какие еще хомуты? Разве что в обозе они найдутся...

— Не вилай, — с хорошо разыгранной беззастенчивостью поморщился я. — Я не про конские хомуты, про совсем другие. Которые ты, сволочь такая, напялил на хороших ребят...

— Командир, ты вроде и выпил мало, а несешь чушь какую-то...

Вроде бы вполне естественные реплики, естественное поведение. Однако... Короткого разговора мне вполне хватило, чтобы сделать безошибочный вывод. Я не следователь и не книжный сыщик наподобие Шерлока Холмса или майора Пронина, но допросов пленных провел немало — еще в немецком тылу, «по горячему». Смею думать, научился определять, что у человека на уме, как он держится.

Все вроде бы правильно, все мотивированно. С таким лицом, такими словами человек и должен отреагировать, когда услышит абсолютную чушь. И тем не менее во всем — в его интонациях, на миг вильнувших глазах, осанке — присутствовал этакий второй план. Словно он оказался застигнут врасплох словами, которых никак не ожидал услышать — и теперь лихорадочно пытался вернуть душевное равновесие, уверенность в себе...

А я, как предписывают правила войны, развивал успех:

— Не по себе, Гриньша? Не ожидал, что тебя раскусят, хомутника долбаного? Это понятно: откуда те-

бе знать, чего я в жизни насмотрелся и что о жизни знаю такого, что не все знают... и к чему я серьезно отношусь...

— Может, это и против воинской дисциплины, но ты, командир, уж прости на худом слове, ерунду какую-то порешь...

Да, он вновь обретал уверенность в себе, но медленно. И нотка неубедительности все еще присутствовала...

Чуть насмешливым тоном, чуть свысока, я сказал с расстановкой:

— Знаешь, Гриньша, что ни у кого не получается? Быть самым хитрым. На всякого хитреца найдется свой капкан. Вот и на тебя нашелся, и прихватило тебя надежно, хрен ногу вырвешь. Можешь и на меня хомут набросить, но не поможет. Всех не перехомутаешь, откуда тебе знать про всех...

— Командир, у нас ведь разговор совершенно не по службе? — спросил он уже совершенно спокойно — ох, не дурак, прокачал в темпе то и это и понял свою совершеннейшую неуязвимость...

— Конечно, — кивнул я, — какая тут служба...

— Товарищ старший лейтенант, разрешите идти? — спросил он насквозь официальным тоном, подтянувшись. — Я понимаю, у всех нервы не на месте... Подумайте потом на трезвую голову, какую чушь сморозили. Хомуты какие-то... Я все понимаю, но вам же потом самому стыдно будет. Я, конечно, язык буду держать за зубами...

— Да уж будешь. Когда поймешь, что всех не перехомутаешь. — Я тоже перешел на официальный тон. — Идите, товарищ сержант...

Он четко повернулся через левое плечо и пошел в дом. Я смотрел ему вслед с тем же совершенней-

шим сумбуром в голове. Если хоть на пару секундочек допустить невероятное, если подойти к этому как к очередной боевой задаче...

Ничего он мне не сделает. Очень уж рискованно. Откуда ему знать, кто еще в курсе, кто относится к некоторым вещам чрезвычайно серьезно? И кто, если и я окажусь в госпитале с неизвестной медицинской хворью, найдет способ его грохнуть? Даже здесь, в тыловом городке, такое свободно можно устроить, разведчики — народ хваткий, изобретательный и крови давно не боятся. И стажер вне опасности, Гриньша представления не имеет, откуда он родом, к чему серьезно относится, а к чему нет... Стоп, стоп! Получается, я допускаю всерьез, пусть на секунду...

Я бросил окурок под ноги, сердито его затоптал и пошел в дом. Там все было как обычно, понемногу завязались первые разговоры, негромкие, угрюмые, и ничьего внимания мой приход не привлек.

...Когда я после времени подъема надел галифе и натянул сапоги, за гимнастерку взяться не успел — вошел старшина Бельченко с хмурым и озабоченным лицом, сообщил с порога:

— Похоже, ЧП, командир...

Вот уж обрадовал! ЧП во вверенном тебе подразделении — вещь для любого командира неприятная...

— Что такое?

— Гриньша так и не вернулся. Как ушел вчера на ночь глядя... Постель неразобранная, самого нигде нет, и никто ничего не знает. Первый раз с ним такое...

Я неторопливо надел гимнастерку и приладил портупею, чтобы было время собраться с мыслями. Подумал и спросил:

— Как думаешь, куда он мог пойти?

— А что тут думать? К этой своей крале, ясное дело. Не первый раз, мы ж говорили. Только в те разы всегда возвращался к подъему. Как и Дорофеев с Курочкиным. Они тоже вчера затемно уходили, только оба вернулись, с таким видом, словно и не отлучались, а Гриньши и след простыл...

— Адрес знаешь?

— Откуда? И никто не знает. Знаем только, что живет с дитем и матерью где-то в своем домике на окраине. Вообще-то ниточка есть. Три дня назад Гриньша ей привозил дрова из «фрицевского лес-промхоза», уж водила-то точно знает куда.

— Наш Парамоныч?

— Нет, Парамоныча он почему-то задействовать не стал, хоть наша полуторка исправная и стоит без дела. Говорят, с кем-то из автобата договорился, уж не знаю, чем платил...

«Фрицевский леспромхоз» мы все прекрасно знали — это за западной окраиной городка. Немцы, аккуратисты, и тут себя проявили — силами саперов извели почти под корень небольшой лесочек, напилили и накололи, рассчитывая обосноваться здесь надолго. Штабеля и сейчас тянулись почти на полкилометра. Когда немцы драпанули без боев, дрова помаленьку использовали на свои нужды наши части, «леспромхоз», в отличие от трофейных складов, не был взят под охрану, так что за ними и горожане приходили с тележками. Мы сами, обосновавшись здесь и разведав обстановку, нагрузили полуторку Парамоныча, чтобы и чай было на чем вскипятить, и печку на ночь протопить — ночами зябко...

Пока я одевался и затягивал ремни, решение пришло само — не такую уж сложную задачу пришлось обдумывать.

— Подождем часок, — сказал я, засекая время. — Мало ли что, не стоит раньше времени паниковать...

Бельченко понятиливо кивнул. Мало ли что бывает. Мог попросту перебраться вчера и дрыхнет сейчас без задних ног. Предположим, раньше с ним такого не случалось, но от строгого взыскания это его не спасет, поскольку на сухом военном языке именуется «самовольная отлучка из расположения части». Но нельзя тянуть до бесконечности. Придется, как полагается, доложить в комендатуру, что любого командира отнюдь не красит, и свой втык он обязательно получит...

В коридорчике застучали сапоги, и, к некоторому моему удивлению, появился лобастый лейтенант-стажер, забайкалец. Вид у него был даже не хмурый и озабоченный, как у Бельченко и наверняка у меня, если подбирать подходящее слово — горестный. Мрачнее тучи был лейтенант.

Однако козырнул мне четко, по всем правилам:

— Товарищ старший лейтенант, я за вами. Нужно ехать, начальник дивизионной разведки за вами послал. Военная прокуратура уже там. — Он правильно истолковал мой вопросительный взгляд. — Там вашего сержанта... нашли.

Как пыльным мешком по голове... «Нашли». О живых так не говорят (и уж тем более о пьяных) — исключительно о мертвых...

Но я, чтобы окончательно убедиться, все же спросил:

— Мертвый?

— Именно. — Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. — Смерть вроде бы естественная. Товарищ старший лейтенант...

— Да, конечно, едем, — сказал я, снимая с вешалки фуражку. И привычно распорядился: — Старшина, остаётся за старшего.

А Бельченко так же привычно ответил:

— Есть.

Знать бы, такое же у меня сейчас удивленное лицо, как у него? Что за естественная смерть могла внезапно обрушиться на здорового бугая, которого впору в семидесятишестимиллиметровую пушку запрягать? И до последнего момента ни на какие хвори не жаловавшегося?

Когда мы вышли на улицу, мне в голову пришла чуточку эгоистическая, но вполне уместная в такой ситуации у любого на моем месте мысль: если смерть естественная, моя промашка как командира, просмотревшего самовольную отлучку подчиненного, как бы сглаживается — с меня и взятки гладки, если разобраться, Гриньша уже никому ничего не скажет, я не обязан бдить за подчиненными круглосуточно. Упрекнуть меня за такую мысль, потаенный вздох облегчения, может только тот, кто на моем месте никогда не бывал и не будет...

— Вы в курсе, что там случилось? — спросил я, когда мы сели в знакомый «Виллис» и лейтенант завел мотор. — Где его... нашли?

— В доме у его... знакомой.

— А подробности знаете?

Он рассказывал, не глядя на меня, сухо, отрывисто, казенными фразами. Лицо оставалось таким же горестным — уж никак не из-за Гриньши, с чего бы вдруг, они даже не были знакомы...

Выходило так. На комендантский патруль, шагавший по обычному предписанному маршруту, выскочила молодая женщина, сразу видно, пребывавшая в нешуточном расстройстве чувств, и сообщила, сбивчиво и несколько бессвязно, что у нее дома вдруг умер военный, не первый раз «приходивший к ней

в гости». Вчера ночью он пришел, а утром вышел на минутку в комнату к ее ребенку (любил с ним «те-тешкаться»), задержался там, было тихо, а когда она заглянула, «гость» лежал как мертвый, не двигался и не дышал, с широко открытыми глазами. Она не знала, кого и звать, решила бежать в милицию и как раз встретила патруль.

Что это за гость, военный, пришедший ночью и оставшийся до утра, патрульные просекли моментально, но это было дело десятое, абсолютно им неинтересное по причине житейской обыденности, не имевшей ничего общего с нарушением воинских уставов. А вот мертвый — это уже серьезнее. Это уже как раз дело комендантского патруля. Ну они и по-шли в ее дом. В самом деле, там обнаружился труп, на взгляд патрульных — без признаков насильственной смерти. Красноармейская книжка у него была в на-грудном кармане гимнастерки, место службы указано четко. И закрутилась машина: они доложили в комен-датуру, а уж оттуда позвонили в военную прокуратуру. Их следователь, капитан Парилов, уже там. Вот и все, если вкратце, товарищ старший лейтенант...

У товарища старшего лейтенанта тут же возник вопрос, который он благоразумно не стал задавать вслух: а собственно, с какого боку здесь Смерш? Ничего удивительного, что приехал Парилов, это его прямая служебная обязанность. Но при чем тут Смерш, если нет признаков насильственной смерти? Предположим, Парилов не может запретить лейте-нанту присутствовать, тот наверняка туманно заявил о неких «обстоятельствах», и задавать вопросов ни-кто в таких случаях не будет. Но что это за обстоя-тельства такие? Непонятно... Или я чего-то не знаю, серьезного и важного?

Стажер молчал, и я спохватился:

— А что там с Тимофеевым?

Он ответил не сразу, молчал, сжав губы. Потом сказал, не поворачиваясь ко мне:

— Умер Тимофеев под утро, врачи ничего не смогли сделать. Говорят, остановка сердца...

Я ничего не почувствовал, кроме некоей тоскливой усталости — насквозь непонятное чувство. И дальше мы молчали. Ехали долго, километра три. Можно было сделать вывод: хозяйшка хороша, коли уж Гриньша ночной порой топал пешедралом, а потом обратно, отмахивая немаленькие концы...

Приехали. Дом оказался не такой уж маленький, построенный явно давненько, может быть, до революции. Не купеческий особняк, конечно, но и не обиталище простого мастерового. Возле ворот (ага, были и ворота, судя по виду, сто лет не открывавшиеся) стоял «Додж-три-четверти» и курили двое незнакомых солдат. Когда мы подъехали, затоптали окурки и вытянулись.

Немаленький огород, большой двор, аккуратная поленница «трофейных» дров... Справа кухня, слева коридорчик, куда выходят четыре двери, одна приоткрыта, вторая открыта настежь, и оттуда доносится женский голос — взволнованный, с плаксивыми нотками, чуточку захлебывающийся. Раздался другой, мужской, знакомый, суховатый:

— Успокойтесь, Ирина Петровна, никто вас ни в чем не обвиняет. Продолжайте...

Туда я и направился, благо не имел никаких указаний и пояснений. Остановился на пороге. Капитан Парилов что-то сосредоточенно писал — высокий, костлявый, с желчным лицом язвенника. Говорили, хороший службист и не вредный, как это за ины-

ми его сослуживцами водилось. Я с ним имел дело лишь единожды, слава богу, исключительно в качестве свидетеля по одному чуть неприглядному делу, опять-таки, слава богу, не имевшему отношения к моему разведзводу.

Парилов мельком глянул на меня и вновь занялся своей писаниной, что определенно можно было расценить как позволение здесь присутствовать и дожидаться, когда придет мой черед. Девушка вообще не обратила на меня никакого внимания. Зато я смотрел на нее с понятным любопытством, интересно же было, что за кралю завел себе Гриньша, тот пострел, что везде поспел...

Что о ней можно сказать? Лет двадцати с чем-то, но на молодую девушку, в общем, не походила, было в ней такое, что в народе называют «обабилась» — грудь налитая, вся стать не девичья, а женская — со многими так бывает после рождения ребенка, по своей старшей сестре знаю. Платьице хорошее, довоенное, конечно, шаль на плечах. Довольно симпатичная, способна привлекать взгляды не одних только изголодавшихся по женщинам мужиков, но Аглая, на мой взгляд, не в пример красивее...

Она тревожно посмотрела — не на меня, просто на дверь:

— Товарищ военный, там ребенок один...

— Не вижу оснований для беспокойства, — обычным своим глухим тоном сказал Парилов. — Ребенок ведет себя спокойно, если бы он заплакал, мы бы здесь обязательно услышали. Собственно, у меня все. Прочитайте внимательно, потом распишетесь. — Цепко глянул на меня. — А вы, старший лейтенант, чтобы не стоять столбом, пройдите в соседнюю комнату, взгляните. Я так полагаю, вы его опознаете...

Я вошел в комнату, дверь которой была приотворена. Довоенная мебель, импровизированная колыбель: на двух табуретках небольшое оцинкованное корыто, устланное поношенной одеждой и чистыми тряпками, и в нем лежит аккуратно запеленутый младенец, неподвижный, спокойный, явно спит, вот и глазенки закрыты...

Но на младенца я посмотрел лишь мельком, все внимание уделил другому...

Гриньша Лезных, полностью одетый, только без головного убора, в сапогах, лежал навзничь рядом с табуретками, в спокойной позе спящего человека, разве что глаза широко раскрыты. И на лице так и застыла широкая, безмятежная улыбка — вот полное впечатление, лицо человека, внезапно застигнутого смертью в какой-то очень приятный для него момент...

Я присмотрелся внимательнее и не смог определить, какие чувства испытываю — то ли оторопь, то ли тягостное недоумение...

Это был он — и в то же время словно бы и не он, а кто-то чужой, незнакомый. Лицо... даже не знаю, как сказать. Не лицо взрослого человека, а словно бы несмышленного младенца — расслабленное, бессмысленное, лишенное всякого выражения. Ни разу не доводилось видеть у мертвых таких лиц, а уж мертвых я навидался на войне предостаточно, всяких-разных, наших и вражеских...

Я отвел взгляд, уловив краешком глаз некоторое изменение в окружающем — хороший разведчик обучен замечать такие вещи, порой от этого многое зависит, иногда сама жизнь...

Ребенок смотрел на меня — пристально, неотрывно. Какое-то время мы так и смотрели друг другу в глаза. И то, что я увидел, меня форменным образом

прошло. Я был трезвый и за здравый рассудок мог ручаться, но клянусь чем угодно, мне не померещилось, так и обстояло...

За спиной слышались шаги, молодая женщина не без робости попросила:

— Позвольте, товарищ военный...

Я торопливо посторонился. Она подошла к «колыбельке», склонилась над младенцем, присмотрелась, произнесла облегченно, с материнской заботой, словно самой себе:

— Спишь, сыночка, глазки закрыты, какой ты у меня спокойный...

В самом деле, ребенок опять закрыл глаза и казался безмятежно спящим, но то, что я только что видел... Я так и стоял истуканом, не представляя, что же с собой делать, но, на мое счастье, заглянул Парилов, позвал:

— Товарищ старший лейтенант...

Я следом за ним вошел в соседнюю комнату и, повинуясь его кивку, уселся на шаткий стул, на котором прежде сидела хозяйка. Описать то, что творилось у меня в голове, не смог бы — даже не сумбур, а что-то другое...

— Вы его узнали? — сухо, насквозь казенным тоном спросил Парилов.

— Конечно, — собрав нешуточные силы, чтобы говорить самым обычным тоном, ответил я. — Сержант Лезных из моего разведвзвода.

— Документами в виде красноармейской книжки подтверждается... — сказал он без выражения и положил перед собой два чистых бланка с соответствующими типографскими грифами. — Ну что же, давайте займемся канцелярскими процедурами, в данном случае неизбежными...

Естественно, первым оказался (Парилов мог бы и не предупреждать): «Протокол допроса свидетеля». Свидетелем в широком понимании этого слова я никаким не был, но так уж у них заведено, выбор формулировок небогат: кто не подозреваемый или обвиняемый, тот свидетель, разве что еще потерпевшие бывают...

Как я и ожидал, первый вопрос был таков: известно ли мне, при каких обстоятельствах сержант Лезных мог оказаться в этом доме? Тут уж моя позиция была непрошибаема, как у засевшего в доте против идущих в атаку пехотинцев. Точно я ничего сказать не могу, но среди личного состава вверенного мне подразделения ходили слухи, что сержант Лезных время от времени по ночам навещает некую свою... знакомую. Предпринимать по этому поводу какие-либо меры пока что не видел необходимости: всякий раз сержант Лезных обнаруживался при подъеме на своем месте и никаких других нарушений устава за ним не числилось. И добавил обтекаемыми формулировками, тщательно подбирая слова, прекрасно нам обоим известную нехитрую истину: ни один полевой устав не требует от командира наблюдать за его спящими подчиненными...

Без сомнения, Парилов отлично понимал, как обстоят дела на самом деле, опыта и стажа не занимать, но как бы он мне доказал, что и я об отлучках Гриньши знал, но, как и подобает толковому командиру в отношении справно подчиненного, закрывал глаза? На разнообразные мелочи приходилось закрывать глаза не только мне, но и ему. Так что протокол допроса свидетеля занял всего пол-листа, а протокол опознания — и вовсе несколько строчек. Я прилежно подписал оба документа после прочте-

ния, и Париллов объявил, что я могу быть свободным, труп солдата увезут на вскрытие.

Лейтенант курил на крыльце. И без всяких просьб с моей стороны заявил:

— Я вас отвезу, товарищ старший лейтенант...

Я и не подумал жеманиться — к чему тащиться пешком? Лобастик был все так же угрюм и подавлен, но я все же вскоре спросил:

— Что-нибудь об этой молодой мамаше знаете?

— Ирина Петровна Кочемасова, двадцати двух лет, комсомолка, — отчеканил он, как прилежный школьник, старательно вызубривший урок. — В сороковом году закончила библиотечный техникум, работала в городской библиотеке. В оккупации вела себя безупречно, характеризуется только положительно. Когда после освобождения библиотеку стали восстанавливать, снова пошла туда работать. Отец до войны был главным инженером автоколонны, в сорок первом мобилизован, сейчас заведует автобатом на Первом Украинском. Мать — до войны домохозяйка, сейчас работает сторожем в магазине. Незамужняя. Об отце ребенка сведений нет, только косвенные предположения: после освобождения ее несколько раз видели с молодым офицером, часто приходившим к ней домой и, по некоторым данным, остававшимся на ночь. Вот и все, что есть...

Интересны не сведения сами по себе, а то, что они у него есть. Объяснений два: либо Смерш ее разрабатывает, что маловероятно, даже зеленый стажер не стал бы делиться с посторонним оперативными материалами, либо он по собственной инициативе (а то и по поручению старшего, и можно догадаться кого) занялся форменным частным сыском... Нет, скорее всего, именно по собственной инициативе —

Веня уже лежал в госпитале... или все же дал поручение сразу после происшествия с Бунчуком? Поди теперь узнай точно... Как бы там ни было, он должен был побывать в милиции, а то и в НКГБ (иначе откуда узнал о поведении этой Ирины во время оккупации?). В любом случае странно. Сам он во время пребывания в доме ничего не предпринял, не говорил ни с Париловым, ни с Ириной. Что же, по доброте душевной взял на себя роль моего персонального водителя, отвез и привез? Вздор совершеннейший. Такое впечатление, что ему хотелось своими глазами взглянуть на место происшествия и труп. Парилов ничего не заподозрил — мало ли какая надобность могла возникнуть у Смерша, не обязанного в данном случае давать объяснения военной прокуратуре, а у Парилова нет оснований объяснений просить, не то что требовать...

Больше я не задал ни одного вопроса. Хотел бы кое о чем спросить, но язык не поворачивался...

Я долго сидел в своей комнатухе, глядя в стену, сто лет не беленную. Сумбура в голове больше не было, наоборот, мысли сбились в нечто единое, вот только легче от этого не стало. Не раз читал, что часто могучую лавину порождает падение крохотного камешка. Вот и на меня нахлынула лавина. Если на краткое время отрешиться от сугубого материализма и пустить мысли самым фантастическим образом, попадешь в такие дебри...

Я думал о том, что только что видел, о младенце, лежащем в оцинкованном корыте за неимением настоящей колыбельки. До войны я по молодости лет не женился, первый ребенок появился только в срок шестом. Однако получилось так, что некоторый опыт тесного общения с младенцами я получил...

Старшая сестра вышла замуж года за полтора до войны, с жильем тогда обстояло скверно, и мужа она привела в свою комнатку, так мы все и жили, в тесноте, да не в обиде. А там у них и сынулька родился. Я, свежеиспеченный дядюшка, словно бы чуточку посолиднел и с несмышленным племянником возился много: купал, перепеленывал, давал соску. Вера с Пашей только поощряли, смеялись: «Женишься, свои дети пойдут, пригодится!»

Так вот... Никак нельзя сказать, будто у полугодовалого младенца глазенки и выражение личика бессмысленные. По-своему вполне даже осмысленные, однако именно младенческие. А когда мы с тем младенцем встретились глазами... Рубите мне голову, это был совершенно другой взгляд, я бы сказал, очень даже взрослый, не по-младенчески серьезный и внимательный... и словно бы не просто насмешливый — издевательский. И на пухлощекое личике выражение было какое-то такое... недетское. А вот у Гриньши в лице, полное и законченное впечатление, появилось нечто младенческое, никак ему раньше не свойственное...

У меня родилась мысль — хотя я и притворялся перед самим собой, что четко она не сформулирована, хотя обстояло как раз наоборот. Не допускал я в сознании четкую формулировку, потому что такого быть не может...

А когда, извелся от противоречий, позвал старшину Бельченко. Тщательно притворил дверь и медлить не стал:

— Такое дело, Парфеныч... Разговор у нас будет насквозь неслужебный, может быть, на всю катушку странный, даже наверняка. Что поделать, хочу кое-что для себя определить, вдруг возникла такая

потребность. Ты ведь верующий: все знают. И упоминал как-то, что крещен, и крестик у тебя все в бане видели, и в здешнюю церковь ты однажды ходил. И это тебя ничуть не виноватит — все ведь знают, какую политику сейчас в отношении церкви ведут партия и правительство и лично товарищ Сталин...

— Верующий, а как же, — сказал старшина, как обычно, веско и неторопливо. — Довольно-таки нерадивый, по совести говоря, однако ж верующий.

— Вот и скажи мне: как ты, человек верующий, смотришь на человеческую душу? Есть она или ее нет?

— Конечно, есть, — ответил он, не промедлив. — Это всякий верующий скажет. У неверующего, ясно, своя точка зрения...

— Ну а про колдовство что ты скажешь? Есть оно или его нет? И можно ли сказать, что сейчас его нет, а раньше было?

Он призадумался, но совсем ненадолго, уверенно сказал:

— Вот это вопрос посложнее, командир. По-разному люди думают, одни говорят, что колдовство изошло на нет в старые времена, другие — что и до сих пор по глухим углам что-то такое встречается. Разное болтают, не раз приходилось слышать и так и этак...

Он стал уклончив, что ему, в общем, было не свойственно. Но это мне нисколько не мешало, я вовсе не собирался что-то от него выведывать. И развил свою мысль дальше, как задумал:

— Ну а приходилось тебе слышать про колдовское умение меняться душами? С другим человеком?

Он непритворно задумался, ничуть не удивившись вопросу — такой уж он был, вологодский му-

жик, не припомню, чтобы его могло что-то удивить. И в конце концов мотнул крупной головой:

— Никогда о таком не слышал...

Возможно, ему и стали любопытны мои вопросы, не походившие ни на какие прежние, но он любопытство редко проявлял, разве что чисто служебное, в разведпоиске.

— А про колдовские хомуты доводилось слышать?

— Отродясь не приходилось, — снова мотнул он головой, на сей раз не задумываясь. — Только про те, без которых ни одна лошадиная упряжь не обходится...

Мне пришла в голову неприятная мысль — сейчас я веду себя как пацан, у которогохватило ума в сложной ситуации попросить совета у взрослого, умудренного жизнью человека... но что делать и как быть, если таких советов нет? Больше не было у меня вопросов, и я, подумав кое о чем насквозь практичным, житейски знакомом, встал:

— Пойдем-ка, есть насквозь служебное дело...

Так оно и обстояло, и дело это отняло совсем немного времени. Вещмешок Гриньши как испарился, не было его ни на обычном месте, ни вообще в помещении. Пропал начисто. Ребят я принялся расспрашивать настойчиво, собрав всех вокруг себя, и сразу же Веденеев охотно признался: он (единственный) видел, как Гриньша уходил ночью с«сидором на плече, в чем Веденеев не усмотрел ничего странного или необычного, а уж тем более подозрительного. Многие так поступали, носили симпатиям гостинец в сидоре: консервы, хлеб, вообще, все съестное или лакомое, что удавалось раздобыть путем солдатской смекалки. Не под мыш-

кой же нести? Особенно если завернуть не во что, а в карман гостинцы не взлезут.

Вот только вместе с вещмешком пропало все Гриньшино богатство — те самые как бы законные трофеи, брать которые не считалось зазорным. Я, как и другие, знал: там и золотые вещицы, и серебряные, и золотые монеты, которые мои орлы при наступлении нашли в посеченном осколками «эрэсов» немецком штабном автобусе, мимо которого в горячке пронеслась, не задерживаясь, бравая пехота (судя по чемоданам из хорошей кожи и висевшей в углу шинели с полковничьиими погонями, драпал какой-то тыловой хомяк, что и другие пожитки подтверждали). Все Гриньшины накопления пропали бесследно — и унес он их, конечно, в сидоре. Как будто заранее знал, что не вернется...

В комнатуху к себе я вернулся еще более подавленным — рассуждая логично (пусть и с позиций насквозь дурной логики), исчезновение вещмешка с ценной поклажей опять-таки, как патрон в обойму, входило в ту самую фантастическую версию, которую сознание отказывалось принимать, но она упрямо лезла в мозги...

Если допустить шальные, фантазмагорические, невозможные догадки, несмотря ни на что, упорно складывавшиеся в стройную, непротиворечивую версию... Пусть даже в нее не верится совершенно...

О хомутах речь сейчас не идет. Дело совсем в другом. Если допустить, что Гриньша со своими чертовыми умениями происхождением из таежной глухомани все же нашел способ улизнуть от войны, при котором уличить его решительно невозможно... Если у того младенца, что смирнехонько лежит сей-

час в оцинкованном корыте, своей осталась только внешность, а душа у него другая...

Дезертирство удалось как нельзя лучше. Конечно, оно связано с кучей неудобств — много времени пройдет, прежде чем младенец подрастет настолько, что, не вызывая подозрений окружающих, сможет проявить кое-какие взрослые привычки. К тому же дети подвержены хворям, иногда заразным и смертельно опасным. И все же овчинка безусловно стоит выделки — когда малыш подрастет, война кончится, уйдет в прошлое.

И ведь решительно ничего не поделаешь! Что можно сделать полугодовалому младенчику, и кто вообще поверит, даже лейтенант-лобастик, если я сам в глубине души не верю? Поддавшись минутному нахлыву фантазмагорий? Нет ровным счетом никаких оснований той же военной прокуратуре устраивать в доме обыск. Да и найди они что-то... Эта Ирина показалась мне неглупой. Скажет с честными глазами, что вся эта благодать ей от отца досталась, в подполе была закопана — и кто будет разыскивать на соседнем фронте командира автобата по такому пустяковому поводу, не имеющему никакого отношения к военным делам? А ребеночка будет на что поддержать...

Гриньша ее, конечно, ни во что не посвящал — какая мать на такое согласится? Сказал что-нибудь вроде: один я, как перст, нет у меня ни семьи, ни близких, случись что со мной на опасных военных дорогах, пропадет добро, так что сохрани уж, если от меня не будет писем, продавай помаленечку, содержи мальчика в достатке... Но случилось еще печальнее: ночью принес, а утром умер в одночасье. И концы в воду. И нет смысла говорить по душам с лобастым

стажером, хоть он и ведет себя странновато, как человек, имеющий свое, отличное от остальных мнение о происшедшем. Если он верит в хомуты, во все остальное может не поверить, а если и поверит, что мы с ним можем сделать? Перед нами стена, которую лбом ни за что не прошибешь, и пытаться нечего...

Все. Со старшиной Бельченко я больше не говорил ни о каких странностях и ни разу не пересекался с лейтенантом-забайкальцем, ни тогда, ни потом. Гриньшу (умершего, как авторитетно заявил Климушкин, от паралича сердца) похоронили на том же кладбище, что и Бунчука с Веней, с могилой, гробом и памятничком с красной звездочкой. Я, разумеется, на похоронах был, а как же иначе?

А через десять дней дивизия двинулась на фронт, и навалились привычные, но оттого не ставшие более легкими заботы. Все случившееся в том городке отодвинулось далеко-далеко.

Вот только через пятнадцать лет... Но это дорасскажу потом, время позднее.

Красноярск, январь 2023

ТЕРМИНАТОР В ТЕРЕМЕ

Антинаучная фантастика

*Бесславной кончине
российской интеллигенции
всех мастей и оттенков
с облегчением посвящается*

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ОДНОГО ТАЙНИКА

Батька Зюгач!

Восславим гений славянской науки, матери всех наук на Земле! Ура! Ура! Ура! Слава! Виват! Виктория! Сподобились на старости лет!

Батька, прости старому солдату эти сантименты. Душа поет, пляшет и трепещет! Короче говоря, имею честь первым доложить, что агрегат «Сламаврем-1», то есть «Славянская машина времени-1», наконец смонтирован и отлажен! Правда, скотина Восьмаго дал мало денег, а там и вовсе вышел из партии, храпоидол такой, объявив себя добровольным буржуазным

перерожденцем. Так что, если между нами, вождями, агрегат получился, грубо говоря и мягко выражаясь, хреноватеньким. Последние детали подбирали и вовсе на свалке. Как мне растолковали научно и популярно, один рейс наша машина еще сделает, и то только туда. А вот насчет обратно никто ничего не гарантирует. И посему нужно подобрать добровольца, который бы не испугался остаться в проклятом прошлом навсегда, архинадежного товарища.

Поскольку поездка в прошлое планируется единственная, следует использовать нашего добровольного времяпроходца (не называть же его космополитическим термином «хрононавт»?!) с самым что ни на есть максимальным эффектом. Мы здесь, прямо скажу, с соратниками собачились от рассвета и до заката, выбирали варианты. Кое-кто считает, нужно отправить времяпроходца прямиком к тов. Дзержинскому, чтобы Феликс Эдмундович всех этих дедов-прадедов так называемых демократов еще в колыбели... ну, ты понял, Батька Зюгач? Предлагалось еще, чтобы наш надежный товарищ съездил на Урал и там этого Бориску еще в нежном возрасте... Мальцы, они ж на речке тонут и гранатами за милую душу сами себя подрывают...

Скажу сразу, лично мне по сердцу было второе предложение, его мы почти и приняли. Но тут пришел Алик Прохамов, обругал нас приземленными, лишенными стратегического таланта, и еще по-всякому, похуже, чем пишет у себя в газетке. Сгоряча ему чуть не навешали, однако передумали. Поскольку Алик придумал замечательный поворот сюжета. Ну, башка! Не стоит, говорит, бить по хвостам, а стоит нанести удар в самое сердце. То есть — отправить нашего человека к славным истокам

российской государственности, в Киевскую Русь, поручить ему войти в доверие к князю благоверному Владимиру Красное Солнышко и уговорить того истребить на Руси святой всех жидов — да так свирепо-показательно, чтобы и дорогу к нам забыли с испугу, памятуя о печальной судьбе предков. Голова!!! Правильно мы Алика не побили. Умеет же, когда трезвый! Объясним князю исторический момент, исторические перспективы — и на грядущее тысячелетие будет Русь избавлена от ихнего зловредного племени!

Батька, лично я предлагаю во времяпроходцы доблестного генерала Какашова. Этот не оплошает! Срочно сообщи свои соображения — аккумулятор на агрегате «Сламаврем-1» хуже некуда, куплен по дешевке со списанного «КамАЗа», долго не протрет.

Соратник Пельменников».

«Пельменников!

Я буду лапидарен, как подобает народному трибуну. Тебе, кстати, тоже советую.

Во-первых, что это за «вожди» во множественном числе? Вождь у нас один. Усек кто?

Во-вторых, прими похвалу. Идея архихороша. Одобрю всецело. Не согласен с одним — с личностью исполнителя, сиречь нашего времяпроходца. Между нами, соратниками, Какашов хорош исключительно для внутреннего употребления. Мы-то к нему уж притерпелись, а вот предки... Пельменников, да в Киевской Руси Какашову придется несладко, он же вылитый бухарский еврей, как две капли... Не с его рожее убеждать светловласых и синеоких древних русичей. Прибьют.

Есть у меня на примете отличный кандидат — товарищ из Сибири Олег Щенко. Патриот, газетчик, прапорщик запаса, язык подвешен, нордически... В общем, годится. Его и утверждаю на роль время-проходца.

Батька Зюгач».

«Батька Зюгач!!!

Не могу переть супротив партийной субординации, но ты хорошо подумал? Эти ж, сибиряки, тебе всего не рассказали! Слышал я про этого Щенко — он же алкаш, батька! Он еще в запрошлом годе, когда гонял под кроватью маленьких зелененьких масончиков, в окно выкинул все пятьдесят пять томов полного собрания страшно сказать кого! И добро бы пулял томами в жидов или демократов — нет, набил синяки совершенно патриотическому электорату, один ветеран, осерчав, даже из партии вышел, не будет ноги моей, говорит, пока всякие прапорщики святыми томами из окон швыряются! Этот же самый Щенко, как напьется, идет к памятнику страшно сказать кому и пихает ему в руку номера своей газетки, как будто страшно сказать кто не «Правду» читает каноническую, а его газетку, щенковскую! И любовница у него — демократка, если ты не знал! В прошлом году ему, правда, импортную спираль вшили под пятое ребро — ну а ежели, пока он будет время-проходить, эта спираль возьмет да и рассосется? Или еще как-нибудь самоликвидируется? Провалим дело, а ведь второго такого шанса нам из-за жлобства Восьмаго историей не отпущено!

Р. S. Батька, если ты велишь быть лапидарным — буду. Только объясни сначала, чего это такое?

Соратник Пельменников».

«Пельменников!

Я буду лапидарен, как подобает народному трибуну.

Возьми лист бумаги. Напиши все матерные слова, какие знаешь. Потом расспроси во фракции, может, вспомнят что-нибудь еще. Дополни и отошли в Сибирь этим... Чтобы в следующий раз рекомендовали с умом.

Переигрывать поздно. За час до получения твоего письма Олег Щенко отправлен в Киевскую Русь, после чего агрегат пришел в состояние, не поддающееся ремонту. Будем надеяться, что пронесет...

P. S. Возьми хороший словарь и посмотри, что такое «лапидарность». Уточняю: на букву «Л». Ты сам, кстати, на букву «М» — вечно у вас нестыковки, промахи, кадровые проблемы, с кем я связался...

Батька Зюгач».

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ДРУГОГО ТАЙНИКА

«Мурмулис! Гера!

Хотя вы надо мной и смеялись, сведения подтвердились. Эти чертовы коммуняки в самом деле исхитрились собрать в сарае машину времени! Агрегат, правда, дохленький, но один запуск вполне потянет. К сожалению, наши, которых мы бросили на операцию «Демаврем-1» («Демократическая машина времени-1»), доверия не оправдали. Все три месяца дискутировали, как строить, из чего строить, по какому принципу строить и в какой именно отрезок истории посылать хрононавта. В конце концов перешли на личности, передрались и разбежались, так и не ввинтив ни единого шурупчика. Как это ни оскорбительно для нашей чести, придется идти по линии

наименьшего сопротивления: наш надежный человек украдкой проберется в сарай к коммунякам во время запуска, так, чтобы оказаться совсем близко. Один физик уверяет, что в этом случае пространственно-хроноклазмическое поле захватит и нашего, перебросив в тот же исторический отрезок. Может, и врет, но другого шанса нет.

Агентурными данными установлено: их человек, небезызвестный Олег Щенко, отправляется в Киев ко двору князя Владимира. Предлагаю с нашей стороны Леру Стародворняжину. Кандидат надежнейший во всех смыслах.

При сем прилагаю список понесенных мною расходов: на прокорм демократических ученых в течение трех месяцев, на выплату раскрывшей личность красно-коричневого времяпроходца агентуре, на организационные расходы.

Слава демократии!

Твой Констанций Нафаньевич Буровой».

«Нафаньевич, не делай из меня идиота! И вообще, Нафаня, не путай личную шерсть с общественной!

Во-первых, никаких таких особых расходов на прокорм ученых у тебя не было. Ты же, прохвост, их все три месяца кормил теми просроченными собачьими консервами, что у тебя отказались брать на реализацию решительно все. Благо наш интеллигент знанием иностранных языков не обременен и надписи на банках прочитать не в состоянии, было б импортное — и ладно...

Во-вторых, какая такая агентура устанавливала личность Щенко, да еще за деньги?! Совсем уж за лоха меня держишь, Нафаня? Вся Дума знает, что

Пельменников, когда спьяну подрался в буфете с Владимиром Вульвовичем, выложил сгоряча и про агрегат, и про времяпроходца, и про Киевскую Русь...

Отсюда — в-третьих. Страшно подумать, но вдруг у этих стервецов что-то да получится?! Нужно либо срочно переметнуться к ним во фракцию, либо отправить в прошлое кого-то серьезнее Лерочки. С Лерочкой расхлебывай сам. Я прекрасно понимаю, как тебе с ней нелегко: у тебя, Нафаня, естество так и играет, ты девочек с Тверской таскаешь, как с конвейера, а Лера сутки напролет следом ходит и ноет, чтобы ты все бросил и писал бы с ней новые частушки супротив коммуны. Нелегко, понимаю. Но Лерочку ты себе сам на шею посадил, сам и выпутывайся. И потом, это у нас она еще худо-бедно может существовать на политическом пространстве, а в древнем Киеве ее, дуру, в первый же день поленом пристукнут, ибо, как достоверно установлено, в том историческом отрезке психушек не имелось.

В общем, за труды получишь сотню баксов. И хватит с тебя. Что до хрононавта, кандидат на примете у меня есть, кстати, землячок Щенко и его старый неприятель, Гайдарий Кадетович Ферапонтыч. Может, помнишь такого? Когда в девяносто первом ты со своими брокерами таскал знамя по Кутузовскому, он из окна выбросил на путчистский танк налитый водой презерватив. За что потом получал медаль в одном потоке с тобой. Он еще от пьяного восторга в Георгиевском зале наблевал прямо на генерала Убейволченко, не можешь ты его не помнить...

Словом, бери, сколько дают, а с Лерой разбирайся сам. Нужно спешить, время не ждет.

Твой Гера Мурмулис».

«Гера!

Между нами, демократами, скотина ты первостатейная. Сто баксов?! Герою августа?! Издеваешься, Гера? Как ни странно, Ферапонтыча твоего я помню. Потому что тогда при вручении облевал-то он вовсе не Убейволченко, а тебя, Герочка, тут ты запомнил. Помню, как не помнить, — бороденка венником, на камуфляж музейные эполеты пришиты. Только тогда он был не Гайдарий Кадетович, а Иван Онуфриевич, согласно старому паспорту. В Гайдария он потом перекрестился...

Гера, ты хорошо подумал? Он же тебе в прошлом такого наворочает... Это ж мизерабль, как писали импортные классики!

Твой Конст. Наф. Буровой».

«Нафаня!

Что касается ста баксов — Мари, бери колбасу и не кокетничай. Все равно больше не получишь. Что до Ферапонтыча — сам все прекрасно понимаю, не обольщаюсь и иллюзий не строю. Но кого же прикажешь послать? Где я тебе возьму Терминатора? Чтобы был демократ, либерал, да еще и толковый, способный в одиночку выжить в Древней Руси? Это где же нам такое чудо-юдо в одночасье раздобыть? Самокритично говоря, наблюдается гораздо более примитивный модус вивенди: украл—выпил — в Париж, украл—выпил — в Варшаву...

И потом, нам, политикам, следует быть самую чуточку циничными. Если, паче чаяния, с Ферапонтычем в прошлом произойдет что-то нехорошее — его и не жалко, откровенно-то говоря. Много их таких в августе презервативами швырялись, всех не пережалеешь. Короче говоря, бери

сотню баксов, сажай в машину Ферапонтыча — и вперед! К тому красно-коричневому сараю! И — без осечек!

Твой Гера Мурмулис».

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ

В Киев, мать городов русских, Олег Щенко вошел не через Золотые ворота, как полагалось бы честным путникам, а сквозь случайно обнаруженную дыру в заплоте — чтобы избежать лишних объяснений с городской стражей, ибо его внешний вид был зело предосудителен. Добираться в Киев пришлось кружным путем — чертова машина времени, пыхая дымом и напоследок чувствительно долбанув времяпроходца током, выбросила его аккурат в безымянной степи, у кочевий половцев. Половцы, люди патриархальные, приняли путника радушно и от пуза напоили просяной хмельной бузой — благо Щенко, прислушавшись к ощущениям организма, с радостью обнаружил, что отравлявшая жизнь антиалкогольная спираль как-то рассосалась в потоке взбудораженного Времени.

Дела поначалу пошли лучше некуда. Уже минут через десять Щенко поднял степняков на борьбу с жидомасонами, узкоглазые дети природы кинулись седлать коней и вострить сабли. Увы, еще через пару минут обнаружилось, что простодушные половцы полагали, будто жидомасоны — это еще одно матерное наименование их извечных недругов, степных же печенегов. Поняв свою ошибку, половцы расседлали коней, отложили недовостранные сабли и наотрез отказались ловить по степям кого-то вовсе им не известного.

Спьяну Щенко обозвал их просионистским элементом. Смысла половцы не поняли, но по тону гостя догадались, что их отнюдь не навеличивают. Поскольку особа гостя священна и неприкосновенна, они дождались, пока Щенко выйдет по нужде за пределы кочевья, где он, согласно степным законам, был уже не гость, а так себе, непонятно кто. После чего навалились скопом и чувствительно отколошматили. Хотели еще и попинать, но хан Кончак был в тот день добр и потому великодушно махнул рукой:

— Тохта!¹ Пусть эта кусливая собака уходит своими ногами...

Ободранный и злющий, Щенко кое-как сориентировался по звездам и побрел в сторону Киева — где гуся украдет, где на мельнице молочка выпросит, где ограбит одинокого купца. Пролезши в вышеупомянутую дыру в заплоте, он воспрянул душой, умилился мысленно: «Киев! Мать городов! И ни единого тебе хохла!» И пошел по граду Киеву, гадая, с чего же начинать свою благородную миссию.

Судьба его обнаружилась вскоре — в облике верзилы в дорогом парчовом охабне, сидевшего при поленице и явственно маявшегося с дикого похмелья.

Собрав в уме скудные запасы древнерусского, Щенко, не теряя времени, спросил:

— Одначе, мужик, торгуют ли у вас пивом зело?

— Зело, — грустно отвечал сидящий. — Только пиво у нас одни немчины с фряжинами лакают, а мы медовуху гоним. И не мужик я тебе вовсе, а Владимир, князь стольно-киевский...

— Иди ты! — изумился Щенко.

¹ Стой! (тюркск.)

— Святой истинный крест, — сказал князь, перекрестившись. — Сижу вот, с похмелья маюсь. Во дворец возвращаться невместно — там бабка, княгиня Ольга, с посохом сторожит. Сурова старуха. Боязно. Напился вчера, византийского императора с дреколем искал, и в кармане ни гривны, все вчера просадили...

— Момент! — рявкнул Щенко, обретая конкретную цель.

Человек многоопытный — бывший прапорщик! — он мигом стащил с князя охабень, променял за углом у сарацинского торгового человека на ведро медовухи, а мимоходом стащил с подоконника ближайшей избенки вяленую воблу.

Понемногу легчало. Князь Владимир, удобно разметавшись на муравушке, отошел настолько, что философски спросил:

— А вот интересно, отчего это — ежели вчера перепьешь, назавтра голова раскалывается?

— Это все жиды, — сурово растолковал Щенко. — Иудеи и прочие масоны. Они, мерзавцы, в нашу славянскую медовуху всякую дрянь подливают.

— Неужто?! — озарился князь. — То-то я гляжу: как пару ведрышек опрокинешь, и голова будто не своя, и во рту такое... Они?

— Они, — заверил Щенко. — Так и подливают. Ночкой темною.

— Так-так-так... — задумался князь. — А вот давеча я в супе таракана выловил... Неуж они?

— Они, — кивнул Щенко.

— А третьего дня кура петухом кричала...

— Они! — решительно оборвал Щенко. — Княже, нужно с этим со всем бороться, и незамедлительно. Газету, скажем, основать...

— Хорошо сказать — газету, — понурился князь. — Средневековье ж на дворе. Где я понимающего человека найду?

— А я тебе что — хрен собачий? — даже обиделся Щенко. — Ты уж только благослови...

— Благословляю, — кивнул рассолодевший князь, грустно заглянув в опустевшее ведро.

Щенко моментально снял с него серебряный пояс, сбегал за угол, нашел давешнего сарацина и вернулся с полнехоньким ведром. Кружки со звяком соприкоснулись:

— За газету! Бей иудея!

...И такие уж шутки шутила нынче судьба, что в тот самый миг на улице показался облезлый пыльный верблюд, на коем неуклюже восседал Ферапонтыч, усталый, но, в общем, полный желанием приспособить свои таланты на службу данному историческом отрезку.

Путь его в Киев был тоже нелегок. Сначала попавшиеся на пути разбойнички из племени чуди белоглазой избавили времяпроходца от лишней одежды, как он ни доказывал, что исстари был борцом за независимость и суверенитет Прибалтики. Чудь белоглазая таких слов не знала вовсе, зато штиблеты содрала охотно.

Ферапонтыч двинулся дальше, завернувшись в сноп. На большой дороге попался невеликий арабский караван, шедший то ли из варяг в греки, то ли наоборот. Поскольку снимать с него было больше и нечего, Ферапонтыч бесстрашно припустил навстречу, вопя:

— Помогите демократу! Антиперестроечные силы в лице...

— Шайтан! — испуганно охнул караван-баши. — Чернокнижник! Заклятья говорит, гуль!

Арабы припустили прочь, потеряв впопыхах самого ледащенького верблюда. Не без труда на него взобравшись, Ферапонтыч потрусил в сторону Киева.

Киевляне на улице встретили его радушно. Они бежали следом, восклицая:

— Скоморох приехал! Фокус-покус казать зачнет!

Однако никаких фокусов от гостя не дождались. Притормозив верблюда, он оглядел растущую толпу и спросил:

— Коммуняки в городе есть?

Киевляне почесали в затылках:

— И не слышали про таких чудищ. У нас чудищ, вообще-то, и не водится, это у немцев больше... Водился и у нас допрежь страшный рыскучий единорог, да и того князь, чащобой пьяный бредучи, колом ухай-дакал. Теперь и вовсе никакого зверья. Это на море, на Хвалынском, сказывают, рыба с ногами плавает...

Приободрившись при известии об отсутствии коммуняк, Ферапонтыч приосанился меж верблюжьими горбами и зычно начал:

— Господа! Сплоченности демократического электората можно и нужно достигнуть, исключив амбивалентность и антимонетаристские выпады...

Послушав его немного, киевляне окончательно убедились, что никаких скоморошских потех им не дожждаться. Кто-то обрадованно заорал:

— Это ж юрод! Ишь, бормочет невнятицу... А ты, Вавила,— «скоморох, скоморох...».

И вскоре на улице стало пусто. Разобиженный Ферапонтыч, поплутав еще немного меж плетней, добрался до тихого дворика, где в тот миг окончательно оформлялась идея патриотической газеты, призванной бичевать, просвещать и противостоять. Душа его не вынесла такого непотребства, и он, как

был, в остатках снопа и с растрепанной бороденкой, перемахнул через поленницу, ухватил князя за ворот и заорал:

— Нет уж, дудки! Свобода так свобода! Я тоже газету требую!

— Князь-батюшка! — обеспокоенно заерзал Щенко. — Укоротил бы ты его на голову...

Однако хмельной князь был весел и преисполнен любви ко всякой живой твари. А потому благодушно изрек:

— Еще одну газету? К-культурно... У нас аж две, а в Царьграде, выходит, ни одной? Повелеваю! По сему — быть!

Новоявленные редакторы оголодавшими волками косились друг на друга, но лаяться при князе опасались...

СЛОВО О ПОЛКУ ОЛЕГОВЕ

Газету Щенко, подумав, решил назвать «Кузькина мать». Он и понятия не имел, что след останется в веках, а выражение «показать кузькину мать» еще долго будет обозначать крайнюю степень устрашения.

Объездив весь Киев, он остановил свой выбор на опустевших хоромах боярина Твердилы Волкозада. Боярин со всем семейством и казною недавно бежал на север и коварно передался варяжскому королю Гарольду Кожаные Портки, за что был предан анафеме. Хоромы пока что не успели приспособить к делу, и Щенко прибрал их под редакторскую руку (хотя один амбар пришлось нехотя уступить таскавшемуся по пятам Ферапонтычу).

Над дверями светлиц Щенко собственноручно приколотил им же написанные таблички: «Отдел

поношения половцев и иных татар», «Отдел поношения Византии», «Отдел поношения прочих отдаленных и сопредельных стран», «Отдел превозношения славного князя Владимира». Полюбовавшись, отправился на подворье смотреть, как новоназначенные печатные мужики вешают у ворот вывеску, гласящую: «Редакция патриотической газеты «Кузькина мать». Орган князя Владимира».

Однако никакой работы не наблюдалось. Печатные мужики сбились в кучу и мяли шапки в руках, а перед ними на коне, как собака на заборе, сидел вдребезги пьяный князь Владимир и орал:

- Кто придумал, злодеи? Р-разнесу!
- В чем проблемы, княже? — спросил Щенко.
- Кто придумал? Кто написал, что орган князя

Владимира — кузькина мать?

— Да, неувязка получилась, — почесал в затылке Щенко. — Ладно, княже, пойдем изопьем медовухи, а вывеску сменю...

Сменили. Написали «Орган княжеского двора» — что никаких нареканий уже не вызвало. Поставили излаженную по корявым чертежам Щенко печатную машину, завезли медовуху и бумагу. Оставалось самое трудное — подобрать кадры.

Уединившись в своем кабинете со жбаном медовухи, Щенко стал думать. Когда жбан опустел, Щенко вышел на крыльцо и рывкнул:

- Коня мне! Стражу!

И объяснил задачу. Не успела стриженная девка косы заплести, как стража рассыпалась по Киеву в поисках авторов наиболее срамных надписей на заборах, а также самых заядлых градских матерщинников. Уже через полчаса пред очи Щенко были силком доставлены гончар Тимоха Матюган,

шорник Ерошка Плюнь-Хайло, половец Мастур-Батыр, изгнанный соплеменниками за переходившее всякие границы блудословие, и лях Казимир Дупа, вынужденный срочно покинуть Краков после сочинения срамных частушек про тамошнего епископа и пробавлявшийся в Киеве мелкими кражами. Напоследок, завернув в судную избу, Щенковы посланцы извлекли оттуда ушкуйника Бермяту, обложившего на торжище купчиху такими словами, что с ней произошел родимчик и общая трясовица организма.

Доставленные стояли ни живы ни мертвы, полагая, что их собрали, дабы предать жестокой смерти. Взошедши на крыльцо, Щенко орлиным оком оглядел рекрутов и сказал краткую речь:

— Ой вы, гой еси добры матерщинники! Решил я, соколы, ваши таланты поставить на службу отечеству. В газете будете служить.

— А это чего? — осторожно поинтересовался Ерошка Плюнь-Хайло. — Драть будут, поди?

— А это значит, — сказал Щенко, — что будете вы, соколы, ругать распоследними словами княжьих супротивников, сиречь все сопредельные народы, а вам за это будут гривны платить и медовуху наливать от пуза. А там, благословясь, и до этих доберемся, носатеньких... Кто согласен, кто нет?

— Да ить кто ж несогласный? — истово заорал Ерошка, хватив шапкой оземь. — В согласи мы, боярин!

— Якши работенка, бачка! — осклабился Мастур-Батыр. — Моя за тебя глотку перегрызет!

— То бардзо добжа задумка, — чинно сказал лях Казимир Дупа. — У пана не голова, а Краковский университет...

Все вроде бы наладилось, однако Щенко был грустен.

— Идейности не хватает, — бормотал он под нос. — Корней духовных, воссиянности... Ага! А лови его, лови, добры молодцы!

Скромно бредущего мимо подворья индивидуума в заплатанном подряснике вмиг изловили и приволокли. Выяснилось, что зовется сей индивидуум отец Мудодарий, а по-мирскому — Степанко, был только что легонько посечен плетью, расстрижен и изгнан из монастыря за неумеренное винопитие и столь же предерзостный блуд с наказом никогда более не попадаться братии на глаза.

— Так, — задумчиво протянул Щенко. — С одной стороны... С другой же... Будешь, старинушка, у нас олицетворять духовное начало. Корни и прочее. Что расстрижен — не беда. У нас по Думе один такой сколько лет ошивался...

— Не умею я... олицетворять-то... — смиренно признался расстрига.

— Прикажу — сумеешь, — отрезал Щенко. — Дело, в принципе, нехитрое.

Все было в порядке, и он гордо покосился в сторону забора, за коим грустно бродил в одиночестве конкурент Ферапонтыч. У того дела шли гораздо хуже. Сколько он ни бродил по улицам, как ни орал на стражников, ни единого демократа, не говоря уж об интеллигентах, в Киеве отловить не удалось. Зародилось страшное подозрение, что на данном историческом отрезке их не имелось вовсе. И Ферапонтыч пребывал в печали.

— То-то, — гордо подбоченившись, бросил Щенко. — А теперь, други мои верные, объявляю учредительный банкет!

ПАРНИ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

Лишь на восьмой день, как следует опохмелившись утречком, сели готовить первый номер «Кузькиной матери». Гвоздем его стала сотворенная Тимохой и Мастур-Батыром огромная передовица под аршинным заголовком «Кончак — с печки бряк», на девять десятых состоявшая из площадной, уличной и переулочной матерщины. Привести хотя бы одну цитату не представляется возможным из соображений приличия, можно упомянуть лишь, что хана Кончака объявили главой тайного синклита гомосексуалистов Дикого поля и Тавриды, обозвали перенятым у Щенко термином «злостный жидомасон», обвинили в краже кур и симпатиях к русофобам. Осушив еще жбан и мстительно хихикая, Мастур-Батыр дописал про интимные шалости хана с верблюдицами, после чего с чувством исполненного долга уполз под стол, присоединившись к давно уже храпевшему там Тимохе.

Ерошка Плюнь-Хайло окаянствовал над византийцами, припомнив им и Олегов щит на воротах Царьграда, и шлюху Феофано, и утраченную Западную Римскую империю. Обвинив во всевозможных грехах, от казнокрадства до лесбиянства, приписал в конце: «И вообще наши этих козлов всегда лупили» — и с чистой совестью взялся за медовуху.

Отдел поношения сопредельных стран в составе Казимира Дупы и Бермяты представил обширную нецензурную поэму о краковском епископе и рассказе о варяжских обычаях с матерным осмеянием таковых. После чего надрался.

Места для духовности осталось мало, и расстриге Мудодарию пришлось ограничиться парой-другой за-

меточек о нерадении базарных надзирателей, предосудительном поведении иных градских обывателей, вышвыривавшихдохлых кошек прямо на улицу, а также злонравии купцовой жены Анюты, после отъезда мужа в Тьмутаракань по торговым делам впавшей в блуд. Он пошел было жаловаться на недостаток места для духовности самому Щенко, но тот лишь, рассеянно поинтересовавшись адресом Анюты, куда-то ушел со двора. Мудодарий плюнул и тоже смылся в неизвестном направлении, туманно упомянув стражу у ворот про живущую поблизости куму.

Печатные мужики заработали как проклятые. К вечеру с подворья вылетели несколько всадников с запасными конями на поводу, навьюченными пачками «Кузькиной матери», — и рассыпались по разным дорогам, спеша обрадовать ничего еще не подзревавшие сопредельные страны.

Из-за забора тоскливо зыркал Ферাপонтыч — его собственная газетка «Голос демократии» получилась не в пример меньше, поскольку трудиться пришлось практически в одиночку. Он после долгих умственных раздумий поступил как привык и умел: печатно облил грязью красно-коричневых, воспел хвалу рыночной экономике, напоследок восславил цивилизованную Баварию, уверенно пребывавшую в демократии (он смутно помнил, что Германии как таковой тут вроде бы еще не имеется, а из всех ее кусочков в голову пришла только Бавария благодаря ассоциациям с пивом). Все вроде бы было правильно, но какой-то червячок грыз...

И он с тщательно скрываемой завистью смотрел, как на соседнем дворе, заслышав звук медного била, помаленьку сползаются встрепанные и опухшие газетиры, а Щенко, подбоченясь, вопрошает:

— Ну что, соколы, пора первый номер обмывать?
— Дело говоришь, бачка! — прохрипел Мастур-Батыр. — Голова — яман, во рту — яман...

— Оно так, — степенно поддакнул Бермята. — Будто кошки гадили, прости господи...

— То есть жуткое состояние души, — поддержал с земли лях Казимир Дупа, не способный стоять вертикально и даже сидеть.

И медовуха полилась рекою. Вновь обретший способность пребывать в вертикальном положении Казимир уже вполне браво спел народную песню:

— Плыне водка, плыне по польской краине...

А допоки плыне, Польска не загине!

Гораздо больше шуму производил Мастур-Батыр: разоблачившись догола, обмазавшись смолой и обсыпавшись перьями, он вопил что было мочи, будто он-де и есть птица Сирин. Так и высыпали на ночные киевские улицы — впереди в смоле и перьях шествовал Мастур-Батыр, при виде которого цепные кобели молча уползали под ворота, следом шел Щенко и мрачно обдумывал ближайшие планы борьбы с масонством, а в арьергарде, поддерживая друг друга, зигзагами двигались остальные, чинно и благолепно развлекаясь: кто бил горшки на плетнях, кто кидал булыгами в ворота, а Бермята изловил двух кошек, связал их лыком за хвосты и забросил в чей-то огород. Ночные дозоры благоразумно сворачивали в переулки — как-никак, не тати-охальники шли, не кабацкая теребень, изволили гулять умственные люди, княжьи газетиры...

— Стоп! — рявкнул вдруг Щенко, разворачиваясь к высокому забору, снабженному крепкими

воротами. — Хватит, соколы мои! Начинаем борьбу с жидомасонством!

Тимоха точности ради встрял:

— Боярин, масонов тут и нетути. Это ж подворье торгового сарацина Абу-Симбела, что жемчуга князю возит и невольниц, которые девственные...

— У нас медовуха есть? — сурово спросил Щенко.

— Кончилась...

— А у него?

— Есть, по запаху чую...

— А девки у нас имеются?

— Откуда? — констатировал печально Тимоха, озирая вымершую улицу.

— То-то, — авторитетно сказал Щенко. — У него все есть, а у нас — ничего. Значит, кто он, Абу-Симбел? Жид последний... Ломай ворота!

В двенадцать кулаков ударив в ворота, газетеры заорали:

— Отворяй, жидовская морда!

В окнах кое-где вспыхнули лучины, калитка приоткрылась, и оттуда выглянул перепуганный Абу-Симбел:

— О благородные странники, что вы ищете на скромном дворе гонимого всеми ветрами купца?

— Девоч, — кратко пояснил Щенко.

— Кажи девственников! — сурово сказал прямой мужик Бермята. — Проверим, девственницы ли, аль обмишурить хочешь князя, с вас, масонов, станется...

— И медовуху, проше пана масона, — уточнил Казимир.

Мастур-Батыр, коему мирные переговоры надоели, выступил вперед во всей своей красе, дико вращая глазами и лупя себя в грудь, заорал благим матом:

— Моя шайтан, бачка, шайтан! Тебя ашать пришел, пожалуйста!

Многое повидал гонимый ветрами Абу-Симбел, но это зрелище оказалось выше его сил — рухнул в обморок. Господа газетиры с молодецкими воплями ринулись на штурм подворья.

Следствием сего предприятия было появление в редакции «Кузькиной матери» полудюжины чернооких секретарш. Князю, получившему жалобу от Абу-Симбела, Щенко объяснил, что специфика газетной работы и борьбы с жидомасонством требует феминизации конкретного сектора. Князь ровным счетом ничего не понял, а потому и не спорил.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Вскоре в Киев на запаленном коне примчался половецкий хан Кончак, расспросил у прохожих, где находится редакция «Кузькиной матери», и прямоком отправился туда.

Двор был пуст, а окна редакции распахнуты настежь, оттуда доносился звон кубков и развеселые песни непристойного содержания. Нетерпеливо поерзав в седле, Кончак заорал:

— Собаки! Шакалы газетные! Подать мне этого, как его... редактора!

Вскоре на крыльцо, пошатываясь, выбрался Щенко, уцепился за перила в целях сохранения равновесия, с удовольствием обозрел разъяренного гостя и сказал:

— Ага... Тебе какого рожна, кочевая морда?

— Пиши это, как его! — взревел Кончак. — Мне по дороге книжники растолковали... Опровержение

пиши, вот! Кем ты меня перед всем Диким полем выставил?! Добром пока прошу!

— Господа газетиры! — позвал Щенко. — Полюбуйтесь на сего мизерабля. Опровержение ему, видите ли, подавай... Мало тебе оперы Бородина?

Пьяные газетиры вперемежку с черноокими секретаршами высунулись в окна и обзревали кипящего от ярости гостя.

— Почто верблюда пользовал, бачка? — орал злопамятный Мастур-Батыр. — Ай, нехорошо, а еще хан зовешься!

— Нехристь ты и содомовец! — вопил расстрига Мудодарий. — Нету тебе моего благословения, азият!

— Ишак ты масонский! — гоготал Ерошка.

Встретив такой прием, Кончак от растерянности поник:

— Бросьте позорить, а? Добром прошу! Неужели не сладим? Всех золотом осыплю, по табуну пригоню, а тебе, Щенок-бек, дочку Кончаковну в жены отдам...

— Ты как меня назвал? — рявкнул Щенко. — Что-то мы вас давно не бивали, пора и по сусалам...

— Я вас сам побью! — озлился Кончак. — Редакцию дотла спалю, а вас всех на воротах развешу, чтобы ветром качало туда-сюда, сюда-туда!

— Гони его! — озлился и Щенко. — Сторожа, собак спускайте!

Из окон в хана полетели обглоданные кости, а со всех сторон сбегались угрожающе размахивавшие дрекольем сторожа. Видя, что сила и солому ломит, Кончак ускакал, преследуемый окрестными собаками.

Щенко, гордо подбоченясь, покосился в сторону конкурента — но Ферапонтыча у плетня не было.

Возможно, знай Щенко, где в данный момент находится его соперник, злорадствовал бы еще больше...

Ферапонтыч, мирно шагавший со жбаном медовухи, был в узком переулке остановлен явно нездешней персоною. Персона, ростом в три аршина, была облачена в кольчужный балахон до пят и шлем горшком, имела при себе длиннющий меч и щит, на коем была в три краски намалевана какая-то неприятная тварь вроде химеры.

— Тфой есть редактор дер газетт? — осведомилась чудная персона, суя под нос Ферапонтычу мятый комок, в котором тот все же опознал первый номер «Голоса демократии». А посему гордо ответил:

— Я. Йес.

На ум моментально пришли сладкие слова: «Зарубежное признание». Ферапонтыч собрался мысленно воспарить над дорогою, но не успел — кольчужник удивительно метко заехал ему промеж глаз и заорал в крайней ажитации чувств:

— Тфой есть дрек... думкопф... балда! Мой их бин курфюрст дер Бафария! Ти что посмелъ писать, дрек? Какой такой демократий в мейн либер Бафария? Мой яфляется приличний феодал со фсеми прафа — первий ночь, третий сноп, пятый поросенок! Демократия — это биль в дрефний Эллада, которий биль каждый фторой дас педераст! Я, благородний Гуго фон унд цу Пферд, не есть педераст, не есть эллин, не есть демократ! Фсе окрестний барон надо мной теперь смеяться и гофорить гроссе насмешка: «Гуго, неужели ти есть демократ, как ф Эллада? Гуго, ти позоришь наш пристойний феодализм! Ты фиродок, Гуго!» Ах ты, хунд...

В мгновение ока выдернув из ножен длиннющий, тронутый ржавчиной меч, оскорбленный в лучших чувствах курфюрст ринулся на редактора «Голоса демократии» с самыми недвусмысленными намерениями. Пискнув в ужасе, Ферапонтыч выронил жбан и заячьим скоком кинулся прочь. Песрыцарь долго гнался за ним по переулкам, пока не грянулся железной башкой о подвернувшийся воротный столб, только тогда бедняге Ферапонтычу удалось оторваться от жуткого преследователя. Но он еще двое суток отсиживался в чьем-то курятнике, пока фон Пферд, обойдя весь город, не устал разыскивать оскорбителя...

...А вскоре навалилась половецкая орда. Половцы впервые нападали не по летнему расписанию набегов, и оттого поначалу возник небольшой переполох, продолжавшийся, впрочем, недолго — мероприятие предстояло насквозь привычное. Быстренько вооружившись, киевляне полезли на стены. Газетиры отправились следом. Щенко, попросив полчаса его не беспокоить, присел у бойницы и стал писать победный репортаж о сражении, коему еще предстояло произойти. Сунувшемуся было с недоумением князю он пояснил, что патриотическое газетное дело имеет свою специфику. Тем временем его подчиненные, выстроившись в ряд, осыпали половцев такими словесами, что обозные верблюды стыдливо отворачивались.

— Княже! Дело есть! — орал подскакавший к воротам Кончак.

— Чего тебе? — недовольно спросил со стены Владимир. — Пошто не по расписанию, ироды? Гониши тут народ из-за вас в неурочное время...

— Газетиров мне выдай! — орал Кончак. — Выдашь — добром уйду, былинки не трону!

— А вот тебе! — показал ему князь ядреный кукиш. — Любы эти витязи сердцу моему! Вперед, ребята, за князя и отечество!

Распахнулись ворота, и витязи соколами ринулись на врага. Илья Муромец лупил половцев сначала оглоблею, а когда она переломилась, уцапал за ноги подвернувшегося мурзу и принялся прокладывать во вражьей рати улицы с переулочками. Добрыня Никитич степенно молотил супротивников палицею, Алеша Попович изящно действовал кистенем. Следом сомкнутым строем валили газетирьы, над ними висел такой густой мат-перемат, что половецкие стрелы от него отскакивали.

— Бей масонов! — неустанно орал Щенко. — Орлы! В обозе — вино и бабы!

В конце концов, не выдержав натиска, хан Кончак под улюлюканье газетиров припустился удирать с остатками своего разбитого воинства, бросив все движимое имущество, на которое по закону войны тут же радостно накиннулись победители.

— Соколы мои! — орал Щенко, крутясь меж юрт на храпящем коне. — Довольно вам барахло подбирать да баб лапать! Срочно садитесь и пишите поношение! Число пленных умножить на три, убитых — на пять, трофеев — на десять!

— Ай, бачка, какой башка, пожалуйста! — осклабился Мастур-Батыр, проворно утрамбовывая в мешок шелка и паволоки.

— Не голова у пана редактора, а два Краковских университета, — поддержал лях Казимир, амурно подступая к половецкой пленнице.

— Патриот, — припечатал немногословный Бермята, запихивая за пазуху подвернувшиеся сафьяновые сапоги.

Щенко тем временем проворно скрылся в шатре Кончаковны, на время отстраняясь от руководства экстренным выпуском.

... И сопредельные страны, заброшенные пачками «Кузькиной матери», угрюмо опечалились¹.

КАК РОЖДАЛИСЬ ЛЕГЕНДЫ

Каждый день перед обедом Илья Муромец бил татаровей. Дело в том, что сохранять богатырскую форму следовало постоянно, а татары являлись под киевские стены, в общем, не так уж и часто. Перехватывать же их поодиночке на большой дороге Илья считал ниже своего богатырского достоинства. Мужичья сметка Ильи помогла найти выход из положения: раздобыв двух заезжих татаровей, Елдыгея-мурзу и Сабантуй-бека, богатырь за три гривны в месяц принял их на службу.

Заключалась служба в том, что каждый день перед обедом, в любую погоду, Муромец брал березовое полено и с полчаса колошматил обоих татаровей, как рекомую Сидорову козу. Остальное время они вольны были использовать по своему усмотрению. К службе татаровья давно привыкли, полагая, что полчаса колошмаченья в день — не так уж и много за такие деньги.

Когда Щенко появился на подворье Ильи, тот как раз закончил утреннюю разминку, отшвырнул измоченное полено и выпил бадью квасу, а Елдыгей-

¹ Глава «Ночь на Ивана Купалу» из данного издания убрана ввиду протестов некоторых высокоморальных и весьма этических красносельских газет, усмотревших тут диффамацию.

мурза и Сабантуй-бек, переглянувшись и привычно почесав ушибленные места, направились в кабак.

— Тебе, паря, чего? — поинтересовался Муромец.

— Интервью брать пришел.

На лице Ильи отразилось непритворное изумление:

— А у меня твоего интервью и нету. Может, ты его по пьянке у кого другого оставил да запаматовал?

— Да нет, — сказал Щенко. — Это значит, ты мне про свою жизнь расскажешь без особых прикрас, а я в «Кузькиной матери» пропечатаю, да еще и денежки тебе заплачу.

— Так ты Ольг Щенко и есть? Востер, востер...

Щенко скромно потупился.

— А медовухи у тебя, часом, нетути?

— Редакционная! — гордо сказал Щенко, показав полнехонькое ведро.

Вскоре они уже были закадычными друзьями, и Илья Муромец повествовал:

— Значит, дело было так... Стукнуло мне, парнишке, всего-то десять годков, да бойкость натуры подвела — сунулся за бабами в бане подглядывать. А бабы в Карачарове у нас, Ольгушок, лютые, как ахнула одна шайкою, да по головушке, так я и обездвижел на тридцать лет и три года.

— Ну а как встал-то?

— А это дело тож, как выражался захожий фрязин, эротическое, — признался Илья. — Шли как-то мимо Карачарова трое калик перехожих, а шли они из Царьграда, вот и набрались там византийского сраму — когда мужик с мужиком содомство учиняет... И как прошли они по селу да по Карачарову, никого не сыскали — народ весь на пашне. Загля-

нули в батькину избу — обрадовались. Вот, говорят, на печи парняга подходящий лежмя лежит, с ним и начнем царьградский блуд учинять. Тут я с дюжего перепугу вскочил и убег, враз в ноженьки сила вернулась...

Щенко слегка поскуучнел.

— А вот взять Соловья-Разбойника... — разговаривался Илья. — Ты хошь ведаешь, за что его Соловьем прозвали? За то, что свистал постоянно. Что ни попадя и у всех без разбору. У Поповича узду свистнул, у Добрыни — сапоги с шапкою. Где ни пройдет, уж да и непременно что-нибудь свистнет. Пили мы с ним как-то раз, до избы не дошли и в канаве успокоились. Просыпаюсь — ни Соловья рядом, ни кошеля моего с гривнами. Свистнул, паскуда! Я — за ним, он — от меня, забрался было на дуб, да сшиб я его оттуда каменюгою, измордовал вдосыт. Теперь у нас троих не свистает, ни-ни...

Щенко скуучнел на глазах, несмотря на выпитое.

— Или вот как с Добрынюшкой-то было, — разошелся Илья. — Пил он, сердешный, месяц без просыпу и допился до того, что случилось ему явление зеленого змия. Страшно-ой! Схватил Добрыня палицу свою богатырскую и начал того змея изничтожать. Все в избе изломал, потом ограду порушил, повесть разнес, к соседским теремам подступать стал. Хорошо, мы с Поповичем вовремя подоспели, стяжком березовым бережно по темечку тюкнули и до рассвета в мокрой простыне держали, покуда в разум не вернулся...

Запершись у себя в кабинете, Щенко некоторое время пребывал в растерянности — для печати рассказанное как-то не годилось. Однако растерянность длилась недолго. Велев подать себе медовухи, Щенко

воспрянул и взялся за нелегкий труд. Под его борзым пером три переходных содомовца превратились в бродячих исцелителей, а история с Соловьем-Разбойником и битва Добрыни со змеем приняли не только благолепный, но и назидательный вид — тот, в котором и дошли до нашего времени, где ныне известны как былины. К сожалению, из-за последующих событий, о коих будет поведано ниже, заслуги Щенко на ниве назидательной прозы остались историкам неизвестны и по достоинству не оценены.

ПАДЕНИЕ

Сидючи в своем кабинете, редактор «Кузькиной матери» был зело печален.

Скорбные раздумья угнетали его буйну голову, но причина, уж конечно, крылась не в Ферапонтыче. Никаким конкурентом «Кузьке» «Голос демократии» так и не стал. По одной-единственной простой причине: язык, на котором Ферапонтыч изъяснялся с киевлянами, был им решительно неведом, большинства слов они и не понимали вовсе, а те, что были понятны, ясности не вносили. Хорошо еще, что чья-то умная голова в конце концов нашла «Голосу» самое что ни на есть прозаическое применение: кто-то подметил, что Ферапонтычеву газету использовать в некоторых ситуациях гораздо сподручнее, чем, скажем, лист лопуха. А сарацинский торговый человек Абу-Симбел первым догадался, что в газету можно заворачивать финики, и тогда покупателю не в пример удобнее нести товар с торжища, нежели, скажем, в шапке. С момента этих открытий спрос на «Голос демократии» даже возрос, но сам-то Ферапонтыч быстро открыл,

в чем тут дело, и от тоски впал в вовсе уж беспробудное пьянство и, шатаясь по киевским улицам, мрачно-туманно сулил встречным какие-то жуткие сюрпризы.

Нет, не в конкуренте было дело. Как ни популярна стала в Киеве и сопредельных странах «Кузькина мать», а запас поношений и ругательств отнюдь не напоминает бездонную бочку. Все чаще и Щенко, и его brave сподвижники ловили себя на том, что повторяются. К превеликому сожалению, то же констатировал и князь Владимир, в лоб заявивший, что газета уже не наводит на соседей того ужаса. Денежки на содержание стали помаленьку урезать, медовухой снабжали опять-таки вдвое меньше против бывшего порциона. Кроме того, борьба с жидомасонством как-то не налаживалась. Теоретически Щенко был готов бороться, не щадя живота своего, но вот на практике не получалось, хоть ты тресни. Чем дальше, тем больше Щенко тихо сатанел...

Однако окончательно осатанеть ему не дал неожиданный визитер — торговый иудей Бен-Шамуэль из древнего города Кордоба. Чуть ли не бесшумно просочившись в кабинет, он какое-то время взирал на редактора с невыразимым почтением, после чего осмелился открыть рот:

— О редактор из редакторов! — начал он с перенятой у мавров цветистостью. — О газетир из газетиров! Имя твое с почтением повторяют от новгородского торжища до магрибских базаров! Мне доподлинно известно, что одна багдадская старуха недавно заявила, будто она-то как раз и есть Кузькина мать, разлученная с тобою в детстве исфаганскими пиратами! Это — всеевропейское признание, не отрицай, о светоч газетирства!

Хмурый от тревог и с похмелья Щенко отрицать не стал.

— Однако и в дурной голове ничтожного Шамуэльки ухитрилась родиться преглупейшая мысль... — вещал тихонечко торговый человек. — Почему бы тебе, свет редакторства, не отвести кусочек твоей высокочтимой газеты — о, совсем ничтожный! — под небольшой рассказ о том, как просторна и удобна лавка ничтожного Шамуэльки? Та лавка, что на Подоле, если за канавой свернуть влево? Почему бы не рассказать — о, совсем кратенько! — как прочны и красивы кордобские кожи, серебряные запястья и хорасанские ковры, коими торгует в сей лавке убогий Шамуэлька? — И он осторожненько положил на стол рядом с редакторским локтем отличавшийся приятной пухлостью мешочек. — Сказано кем-то из великих, что слово — золото. Глубоко подмечено... Я бы не осмелился считать твое слово серебряным или медным...

Щенко сначала подумал, что стоило бы припечатать этого несомненного жидомасона пустым жбаном по лбу. Однако во всем редакционном тереме не было ни глотка медовухи, да и с гривнами обстояло, меж своими признаться, плачевно. А в симпатичном мешочке и в самом деле позвякивало золото.

Торговый иудей Бен-Шамуэль, конечно, и не думал, что ненароком ухитрился изобрести платную газетную рекламу. Он попросту был торговцем от Бога. И, мысленно прикинув время, потребное руке Щенко, чтобы прибрать золотишко в карман, ошибся всего лишь на две секунды — простительная ошибка для человека, понятия не имевшего о термине «секунда»...

Свежий номер «Кузькиной матери» вышел с рекламой кордобской кожи, серебряных запястий

и хорасанских ковров. Бен-Шамуэль, понятное дело, держал свою выдумку в секрете от всех и каждого, но хитрейший торговый люд, прошедший огни и воды, Магриб и Левант, варягов и греков, очень быстро кое-что сопоставил, прикинул и сделал выводы...

Совсем скоро к редактору «Кузькиной матери» пришел в гости Бен-Иегуда, торговавший в Киеве шелками и розовым маслом. Ушел он, став чуточку беднее, но в отличном расположении духа. За ним последовал Бен-Галеви, в метафорическом смысле съевший собаку на торговле смоквами, благовониями и пушниной.

Самую чуточку позже новое изобретение перестало быть сугубой монополией Бен-Шамуэля и его единоверцев. Все остальные торговые гости тоже не первый год жили на свете и нос по ветру держать умели. Один за другим, старательно прикидываясь, будто не замечают друг друга, в редакторский терем прошмыгивали фрязин Кастрателло, заезжий ганзеец Фогель-Швайне, лях Ежи Негодзивец, варяг Харяльд, персиянин ИбнБатут... С каждым визитом карман Щенко тяжелел.

«Кузькина мать» менялась на глазах молниеносными темпами. Ругань в адрес сопредельных и отдаленных соседей, ежели поначалу ее можно было сравнить с широченной полноводной рекой, в несколько дней обернулась хилым пересыхающим ручейком, а там и пересохла вовсе. От первой до последней странички газета была заполнена рекламой разнообразнейших торговых гостей — что, надо сказать, несказанно огорчало иных киевлян, привыкших читать веселую матерщину вкупе с сенсационными разоблачениями. Уныние воцарилось повсеместно — на что раздобревший, как на дрож-

жах, Щенко не обращал внимания. В этот период он провернул одну из лучших своих негодии: за оставшуюся неведомой историкам сумму опубликовал восхваление только что изгнанной из града Царьграда секте богомилов-вертунов, по недосмотру киевского митрополита приютившейся в баньке на Подоле. Следствием этого был неожиданный визит в редакцию святого старца Варсонофия, каковой перебил посохом стекла в печатной избе, громогласно анафемствуя редактора, после чего тем же посохом хотел наkostenять последнему по шеям, но ввиду численного превосходства газетиров был невежливо вытолкан с подворья.

Звоночек, откровенно говоря, был тревожный, но Щенко не придавал инциденту значения — он как раз, нежно поглаживая увесистый, приятно звеневший мешочек, писал обширную статью, восхвалявшую государственную мудрость хана Кончака (тот, хоть и считался диким половцем, очень быстро и совершенно самостоятельно сделал эпохальное открытие: враждебную газету, оказывается, вовсе не обязательно сжигать дотла, коли ее можно купить...).

На соседнем подворье тихо исходил лютой злобой Ферапонтыч: к нему-то ни одна торговая душа так и не подумала сунуться с платной рекламой, справедливо рассудив, что это означало бы выбросить деньги на ветер.

В конце концов оба редактора окончательно зарвались — один от сытости, другой, наоборот, с голодухи...

«Доблестному рыцарю барону фон Гринвальдусу.
Любезный мессир!

Как мы и договаривались, отправляю очередное донесение о могущих представлять интерес киевских событиях.

Таковые приняли неожиданный оборот. Нынче поутру оба редактора схвачены княжьей дружиной и ввергнуты в тюрьму, именуемую здесь «поруб» (porub). Герр Щенко (Tshcenko), окончательно зарвавшись, в последнем номере газеты «Дас Муттер дер Кузка» напечатал скандальную статью, где, по его собственным словам, попытался «раскрыть истинную родословную князя Владимира». Согласно изысканиям, кёниг Владимир на самом деле не «рабынич», сиречь сын рабыни, а «раввинич», то есть сын раввина, какое обстоятельство, по мнению герра Щенко, свидетельствует о коварном заговоре иудейского племени против Святой Руси. Как шепчутся бояре, ярость кёнига Владимира описанию не поддается.

Герр Ферапонтыч (FeraPontych) угодил в тюрьму по иной, не менее серьезной причине. Собрав некоторое количество горожан, он устроил на Крещатике сборище, которое назвал неслыханным доселе словом «демократический митинг». Объявив прилюдно, что княжеское правление представляет собой самый неприкрытый «тоталитаризм», герр Ф. заявил, что создает некую «партию», каковая проведет «демократические выборы» нового князя. Что это означает, никто так толком и не в состоянии объяснить, но на всякий случай сборище разогнано, а герр Ф. ввергнут в тот же руб.

Пока что дальнейшая судьба обоих редакторов неизвестна.

С почтением к господину барону —

Фогель-Швайне».

...А пару дней спустя летописец Анцифир, старательно очинив гусиное перышко и вытряхнув из чернильницы случайного таракана, со всем прилежанием вывел на привозном пергаменте:

«Нынче же на Боричевом взвозе пресветлый князь Владимир Святославич за предерзостные вины и ужасные прегрешения, коих не стерпит даже пергамент, принародно повелел: мозгоблудцев и татей Олега Щенко с Ферапонтычем ободрать кнутом нещадно, после же, буде выживут, отослать навечно в Выдубецкий монастырь на покаяние. Газетный двор спалить дочиста, а пожарище сровнять с землею и впредь на том месте никакого строения не допускать, зато мусор сваливать невозбранно. Заезжего ляха Казимира Дупу выдать головою краковскому епископу, половца именем Мастур-Батыр выгнать к хану Кончаку, прочих же газетиров плетьюми вышибить из Киева, настрого предупредив, что ежели когда вернутся, сгниют в порубе.

Вечером же, собравши ближних бояр и детей своих, князь Владимир произнес всем отеческое поучение:

— Чада мои возлюбленные! Бояре ближние! Ведомо мне теперь, что от газет и партий на Руси происходит одна лишь смута в умах, разброд в суждениях и беспорядки в градах и весях. И посему накрепко вас наставляю: не допускать впредь на Руси нашей просторной ни газет, ни партий, ежели не хотят потомки умственных шатаний, продажности печатного народа и общего помрачения умов. На том кладу завет мой, а кто его нарушит — навлечет на Русь беду неминуемую!

Князь сказал, и бояре приговорили. К сему скромный книжник Анцифирко руку приложил».

...Пока на русском престоле сидели Рюриковичи, тайный завет князя Владимира Красное Солнышко соблюдался строго. Когда некий немчин предерзостно завез на Москву полвоза итальянских газет, великий князь Иоанн Васильевич, Грозный тож,

велел привязать того немчина к столбу, обложить газетами да и запалить с четырех сторон, благословясь. А дьякона Ивашку Федорова, любопытства ради одну газету похитившего, Иоанн Васильевич от греха подальше велел выгнать в Литву — дабы означенный Ивашко, сам печатным делом баловавшийся, чего доброго, не соблазнился иноземным примером.

Увы, в последующие столетия из-за многочисленных смут и небрежения к летописям «Поучение князя Владимира» то ли сгорело в Смутное время, то ли было сожрано мышами во времена Медного бунта, а потому забылось начисто. В конце концов государь Петр Алексеевич, без разбора перенимая европейские придумки, велел учредить и газету. И покатилося, как снежный ком: Радищев, Новиков, вольтерьянцы с декабристами, манифест девятьсот пятого со свободой печати, «Речь» с «Искрою», а там и партии пошли размножаться, как амебы...

Последствия общеизвестны.

1999

ЗДЕСЬ ВСЕ ИНАЧЕ, ИНАЧЕ, ИНАЧЕ...

С проходившего мимо планеты корабля должны были высадить пассажира... Капитан Куросаки даже не собирался садиться. Другое дело, если бы «Акела» был после долгого рейса и экипаж соскучился по траве, ветру и облакам, но «Акела» месяц простоял в Порт-Беренике, так что в ветре и траве экипаж не нуждался. Лех тоже. Он слишком долго торчал на Смарагде, а затянувшийся отпуск — это уже ничего приятного. Смарагд — всего-навсего чистенький благоустроенный курорт, вечно забитый юными парочками и компаниями школьников. Вся эта публика, как правило, уже через час после прибытия узнает, что бок о бок с ними отдыхает изыскатель из корпуса дальней разведки. Они начинают пялить глаза, стремятся завязать знакомство и требуют рассказов о героических буднях. Выражение «героические будни» всю сознательную жизнь выводило Леха из себя, и он воспользовался первой подвернувшейся okazji, чтобы сбежать. Прослышав, что на соседней планете «эти технофобы» в третий раз за текущий год ухитрились вывести из строя передатчик, Лех помчался к капитану Куросаки. Капитан мог пре-

спокойно сбросить аварийный комплект в капсуле, но... Людям из «Авангарда», как правило, не отказывают в мелких просьбах.

Лех ногами вперед нырнул в капсулу, поставил на пол сумку и тяжелый «футляр, удобно устроился в полупрозрачном кресле. Штурман прощально взмахнул рукой, нажал кнопку на стене, и капсула провалилась в люк. Лех равнодушно смотрел, как черноту космоса сменяет голубизна атмосферы и навстречу несутся белые струи облаков.

Деревья, секунду назад похожие сверху на комки оранжевой ваты, выросли, заслонили и белое здание станции, и голубую широкую реку. Легкий толчок, капсула замерла. Лех вылез. Население планеты состоит всего из четырех человек, через три дня «Аке-ла» пойдет назад — благодать...

Вокруг царил тишина, нежная и пушистая. Лех плюхнулся в сиреневую траву, раскинул руки, вдохнул полной грудью незнакомый приятный запах.

Вставать и уходить не хотелось. Не так уж часто попадаешь на уютную безопасную планету, где звери не пытаются тебя сожрать, прикидываясь безобидными пнями; где нет никаких загадок, требующих бессонных ночей и жертв; где никто не таскается по пятам, умоляя рассказать о героических буднях...

Оказывается, он задремал... Лех потянулся, встал. На сумку успела забраться толстая зеленая ящерица и раздувала горло, притворяясь от страха, что она очень опасный зверь. Лех осторожно взял ее двумя пальцами за бока и опустил в траву. С ящерицами у него были давние счеты и стойкая нелюбовь, но эта не имела к ним никакого отношения. Лех подхватил поклажу и пошел к станции напрям-

мик через лес. Очень приятный был лес — редкий, опрятный, без переплетения лиан и цепляющегося за ноги кустарника.

Скоро показалось здание — эллипсообразное, трехэтажное, с плоской крышей, почти сплошь из стекла с белыми прожилками динапласта. Оно было красивым и прекрасно смотрелось бы на Земле, но здесь, будучи единственным зданием на планете, выглядело то ли жутковато, то ли нелепо. Лех был горячим сторонником и поклонником архитектора Сано Соноды, считавшего, что дома для других планет нужно строить по оригинальным образцам, не имеющим ничего общего с земной архитектурой.

Помахивая сумками, он шел к парадной двери, без всякого крыльца выходявшей прямо на траву... Издали он увидел, что у двери кто-то сидит в шезлонге, а поскольку это девушка, то это может быть только Мария. Несомненно, она должна была заметить Леха, но не изменила позы, не шевельнулась, видимо, задремала на солнышке. Лех ускорил шаг...

И сумки выпали у него из рук...

Издали ему казалось, что на Марии длинное сиреневое платье, но теперь его прошиб ледяной озноб, потому что по всему ее загорелому телу, исключая желтый купальник, кисти рук и лицо, росли маленькие, с ноготь, сиреневые цветы, росли прямо из тела, и стебельки их казались естественным продолжением кожи...

Мария смотрела широко раскрытыми, ничего не выражающими глазами, грудь размеренно поднималась и опускалась. Лех осторожно, двумя пальцами ухватил стебелек и потянул. Цветок не поддавался. Такое ощущение, словно он потянул за палец.

Когда Лех побежал, он не понял. Просто вдруг оказалось, что он лежит в траве метрах в двадцати от станции и бластер пляшет в потной ладони. Он ничего еще не понял и не пытался понять, но знал уже, что станция замолчала не из-за мелкой поломки, что здесь случилось что-то страшное. А «Акела» вернется только через три дня...

Вспышку ужаса легко удалось подавить. Лех сказал себе, что отпуск у него кончился и пора приступить к работе, встал во весь рост, сжал бластер в опущенной руке и пошел к дому. Ему казалось, что сотни исполинских глаз наблюдают за ним ото всюду и сотни дул готовы расстрелять беззащитную на сиреневом лугу фигурку...

По дороге к станции у него начерно оформилась уютная гипотеза — ничего такого нет и не было. Галлюцинация. Скажем... Ну, скажем, аромат сиреневых трав оказал галлюциногенное воздействие на его мозг. На тех, кто работал здесь, не подействовал, а на него подействовал. Может быть, он съел или выпил что-нибудь не то. Порой невозможно предсказать реакцию инопланетной флоры на тот или иной раздражитель земного происхождения — новый прохладительный напиток, губную помаду, крем для бритья. Можно насчитать не один десяток прецедентов — и анекдотических, и жутких...

Хорошая была гипотеза, но именно эта ее скороспелая уютность и отпугивала...

Дверь открылась легко, как ей и полагалось. Идеально чистый вестибюль был пуст. Вправо и влево уходили широкие коридоры. Лазарет, скорее всего, на первом этаже — так всегда бывает на внеземных базах. Когда человек получает серьезную травму и его необходимо срочно доставить в операционную, иг-

рает роль каждый метр. Поэтому вряд ли кто-нибудь стал бы менять типовую программу киберстроителей, хотя на этой планете самой серьезной травмой считается, наверное, когда человека цапнет за палец ящерица.

Действительно, на первой же двери справа он увидел небольшую табличку «Лазарет». Осторожно нажал на ручку, просунул внутрь голову. Тишина. Шеренга прозрачных шкафов с медикаментами, три полусферы кибердиагностов.

Лех остановился в двух шагах от двери и громко сказал:

— Помощь. Анализ психики.

Ближайшая полусфера бесшумно поплыла к нему, на ходу выпуская блестящие членистые щупальца. Прохладные диски легли на вспотевший лоб, на виски, эластичные ленты плотно охватили запястья.

— Легкое возбуждение, — приятным баритоном сказал кибер. — В лекарствах нет необходимости.

— Приказываю: двойную дозу «Супер-АГ», — сказал Лех.

Машины не умели противоречить. Щупальце прижало пневмошприц к левому запястью Леха чуть повыше часов. Раздался едва слышный хлопок. Антигаллюциноген должен был подействовать через тридцать секунд, и Лех знал, что во всей доступной человечеству части Вселенной не найдется химического соединения, способного оказаться сильнее «Супер-АГ».

Для надежности он ждал минуту, потом крикнул киберу: «За мной!» — широко распахнул для него дверь и почти побежал к выходу...

Цветы с тела Марии не исчезли. Лех сел на траву рядом с шезлонгом и задумался. Никаких галлюци-

наций. Заражение? Какие-нибудь растения, паразитирующие на местных теплокровных животных, посчитали, что нет разницы между своими обычными симбионтами и Марией? А где остальные трое?

«Спокойно, — одернул он себя. — Спокойно и методично...»

— Общий анализ, — приказал он, указывая на Марию.

— Общий анализ проводился сорок три часа назад, — доложил кибер. — Данное поражение организма современным кибердиагностам неизвестно, ввиду чего не способен предпринять какие-либо действия.

— На место! — приказал Лех.

Он шел по длинному коридору. Раздражающе гремело эхо шагов, но Лех не мог заставить себя идти медленнее и тише. «Лучше шум, чем неуверенность, — повторял он про себя, — лучше уж шум».

Так вот, никакой неуверенности. Передатчики были уничтожены. Пол и стены зала покрывала спекшаяся корка, отовсюду свисали мутные сосульки и чернели широкие полосы — следы лучевых ударов.

На уцелевшем столике у входа лежали два бластера. Лех проверил индикаторы — оба разряжены. У стрелявшего была конкретная цель — сумасшедший не ограничился бы залом связи, он шел бы, не разбирая дороги, и стрелял, куда упадет взгляд, а этот аккуратно уничтожил передатчики, положил бластеры на стол и ушел — куда? «Акела» придет через три дня. Остается надежда на какой-нибудь случайный звездолет, но из горького опыта известно, что случайные звездолеты появляются только тогда, когда в них нет ровным счетом никакой необходимости...

Такого с ним еще не случилось. Даже уходя на задание в одиночку, он знал, что за ним наблюдают, с ним поддерживают двустороннюю непрерывную связь, что в случае необходимости те, кто боится его, пустят в ход всю нешуточную мощь Звездного Флота. Сейчас он остался один — просто ничего не знающий человек с бластером, на планете, население которой, если считать его, составляет ровным счетом пять человек...

Мозг станции выглядел стандартно — стена, усыпанная бесчисленными лампочками, табло и два огромных зеленых глаза.

— Кто ты? — спросил Лех для проверки.

— Искусственный Мозг на квазинейронах первого порядка станции планеты Сиреневая, — ответил жестяной голос.

— Где персонал станции?

— Персонал станции не обязан сообщать мне о своих передвижениях, — сказал мозг.

— Что произошло на станции?

— На станции ничего не произошло.

Лех сообразил, что вопрос поставлен расплывчато.

— Что случилось с Марией Калаши?

— Нет данных.

— Кто уничтожил передатчики?

— Нет данных.

— Где роботы, приписанные к станции?

— Девять переведены на рудник, десятый выполняет специальное задание.

— Какое?

— Вы не принадлежите к людям, обязанным это знать.

— А кто же тогда принадлежит?

— Кирилл Крымов, — сказал Мозг.

— Где Остапенко и Гулич?

— Нет данных.

— Чем ты занимаешься сейчас?

— Готовлю взрыв реакторов рудника.

— Что?! — крикнул Лех. В случае взрыва реакторов, питавших энергией полностью автоматизированный рудник, квадрат пятьдесят на пятьдесят километров стал бы мертвым, зараженным радиацией, выжженным пространством. И огромное радиоактивное облако, тяжело плывущее над оранжевыми лесами и сиреневыми лугами, разносящее заразу дальше, дальше...

— Прекратить! — сказал Лех.

— Я выполняю приказ.

— Но блок предохранителей...

— Блок предохранителей демонтирован, — бесстрастно сообщил Мозг.

Чтобы отключить блок предохранителей, нужно быть талантливым кибернетиком, которого следует немедленно лишить права работать по специальности — Мозг, лишенный блока, выполнит все, что прикажут. Абсолютно все. Абсурдное, преступное, опасное...

— Я попросил бы вас покинуть помещение, — сказал Мозг.

Бластер был уже в руке... Лех палил беспорядочно, неприцельно, чертя лучом размашистые зигзаги. Что-то мерзко шипело, свистело, валили клубы едкого дыма, тек по полу расплавленный пластик, сквозь вой и треск разрядов прорывались бессвязные выкрики гибнущего Мозга. Взыла и тут же захлебнулась аварийная сирена, испарились в луче мигающие красные лампы общей тревоги.

Пар и дым уплывали в разбитые окна. Мозг был уничтожен начисто. Лех выщелкнул из рукоятки серебристый цилиндрок разряженной энергообоймы, не глядя, на ощупь вставил новый. Сунул бластер в кобуру, присел на корточках у стены, приятно холодной, прижался к ней затылком. Он был один на планете, один во Вселенной. Теперь Крымову, коли уж он сошел с ума и собирался взорвать рудник, придется обходиться своими силами, автоматика безопасности реакторов — крепкий орешек.

Самое скверное — Лех понятия не имел, где расположен этот чертов рудник, знал только, что он находится километрах в двадцати от станции. Исчезли все вертолеты и вездеходы, а пускаться в поиски пешком бессмысленно...

Лазер, подумал Лех. Мощный лазер входит в комплект оборудования, согласно параграфу 23/4: «Две планеты, расположенные относительно друг друга в пределах оптической видимости. В случае, если звездный персонал одной из таких планет не имеет стационарного космического корабля, станции должны быть снабжены лазерами для дублирования при необходимости аварийных сигналов». Если энергоемкости станции не тронуты, можно дожидаться ночи и передать на Смарагд сигнал бедствия. Смарагд — крупный космодром, помощь придет через несколько часов. Да, но сейчас здесь только полдень...

Лех снова вдохнул тот приятный незнакомый запах, преследовавший его на лужайке. Скорее всего, почудилось — откуда этому запаху взяться здесь, в вентилируемом воздухе станции? Лех встал, проделал несколько гимнастических упражнений и спустился вниз.

Мария сидела в той же позе, широко раскрыв глаза. Сунув руки в карманы, нарочито громко по-свистывая, Лех медленно пошел вокруг здания: «Дождаться ночи. Ночи...»

Он резко остановился, качнувшись вперед по инерции. В траве лежала стальная квадратная плита, и на ней небрежно, видимо, наспех, было коряво выведено искровым разрядником: «Павел Гулич». Стояло еще число — вчерашнее. И больше ничего.

Лех опустил на колени, указательным пальцем потрогал бороздки надписи. К ужасу примешивалось еще что-то — то ли гнев, то ли боль. Может быть, все вместе. Он просунул пальцы под край плиты, напрягся и рывком отвалил ее. Обнажился квадрат холодной, рыхлой, недавно вскопанной земли — самая настоящая могила. Гулич мертв. С Марией немногим лучше. Крымов спятил и собирается взорвать рудник. Остапенко исчез. За что еще можно зацепиться?

Лех опустил плиту на место. Постоял, вдыхая назойливый запах сиреневой травы. Не было ветра, не было облаков. Небо и безмятежная тишина, вовсе даже не казавшаяся предгрозовой.

Предпринятый им тщательнейший обыск станции ничего не дал. Если не считать разгромленного зала связи, все остальные помещения имели обычный вид — все на местах, все цело, люди вышли ненадолго и вскоре должны вернуться к обеду. Мощный лазер в комнате на втором этаже, как и положено по инструкции, сориентирован на ту точку небосвода, где с наступлением темноты должен появиться Смарагд, и подключен к энергоемкостям Станции. В сочетании с уничтоженными передатчиками исправный лазер являл собой такую

нелепую и парадоксальную загадку, что Лех и не пытался ее разгадать. Он сел у пульта, положил ладони на его никелированный окаемок, словно на клавиши рояля, и в сотый раз тоскливо подумал, как и тысячи людей до него в похожих и непохожих ситуациях: «Ну почему это должно было случиться именно со мной?»

«Здесь все иначе, иначе, иначе...» — промурлыкал он припев очередного шлягера сезона. Замолчал и тревожно прислушался.

Звонящий шелест вертолетных винтов приближался с каждой секундой.

Лех не шевельнулся. Винты засвистели совсем рядом, и ало-голубой «Орлан» приземлился перед входом, почти напротив окна, у которого сидел Лех. Туманные круги замедляли вращение, пока не превратились в поникшие лопасти. Распахнулась прозрачная дверца, человек в зеленом комбинезоне выпрыгнул на траву, уверенно направился к двери. На Марию он и не взглянул. Следом за ним поспешал блестящий робот.

Лех выхватил бластер, сунул его за пояс, под рубашку, отстегнул кобуру, швырнул ее в ближайший шкафчик и навалил сверху кипу каких-то графиков. Неторопливо спустился в вестибюль и встал под ажурной люстрой, скрестив руки на груди. Ему было любопытно, какотреагирует Крымов на появление незваного гостя.

Крымовотреагировал молниеносно и не самым лучшим образом — выхватил бластер, навел его на Леха и холодно предупредил:

— Не шевелиться.

— Я постараюсь, — пообещал Лех. — Что у вас стряслось?

Крымов молча разглядывал его. На сумасшедшего он не походил. Скорее, выглядел просто-напросто адски уставшим.

— Не дурите, — сказал Лех. — Я со Смарагда. Там посчитали, что вы снова заporоли передатчик, и я привез новый.

— Я не хочу рисковать, — спокойно признался Крымов. — Гораздо проще пристрелить вас. Откуда я знаю, человек вы, или снова...

— Не дурите, — повторил Лех, так ничего и не понявший. — Если вы приняли меня за кого-то... За что-то... Я прилетел не больше двух часов назад. Капсула неподалеку, в лесу. В атмосфере еще можно отыскать след корабля. Надеюсь, вы умеете пользоваться инверсионным локатором? Разумеется, если вы уже ничему и никому не верите, тогда, конечно... Но не настолько же вы потеряли голову, я полагаю?

— Ну что ж... — сказал Крымов после короткого молчания. — Шестой, охраняй его. Если попытается бежать — убей.

— Приказ понял, — равнодушно отозвался робот. Над его фасеточными глазами поднялась прикрывавшая линзу лучемета заслонка. Перепрограммировал и роботов, отметил Лех.

— Итак? — поинтересовался он, когда минут через пять Крымов вернулся.

— Корабль был. Однако с таким же успехом след корабля может оказаться инсценировкой, а вы — фантомом. Но, с другой стороны, вы правы — не верить никому и ничему — идиотизм... Кто вы?

— Лех. Корпус «Авангард».

— Из этого не следует, что у меня убавилось хлопот. Скорее наоборот.. У вас есть оружие?

— Откуда? — Лех демонстративно распахнул куртку. — Я в отпуске. Зачем мне оружие на Сма-рагде или здесь?

— Кто же тогда уничтожил Мозг?

— А разве не вы его?.. — вполне натурально удивился Лех. — Я обшарил станцию — все цело, уничтожены только Мозг и зал связи.

— Зал связи уничтожил я, — небрежно сказал Крымов. — Для пущей надежности. А вот Мозг... Неужели они?..

— Кто? — жадно спросил Лех. — Что произошло? Где Остапенко?

— В подвале. Я его там запер.

— Зачем?

— Чтобы не мешал.

— Кому?

— Мне, естественно.

— В чем же?

— Интересно, что мне с вами делать? — сказал Крымов. — Можно запереть вас рядом с Остапенко, а можно и использовать... Вы умеете обращаться с тестерами НДК?

— Более-менее, — осторожно сказал Лех. — А в чем я должен вам помочь?

— Взорвать рудник, — он впился пытливым взглядом в лицо Леха. — Удивлены? Испуганы? Нет? Или считаете меня сумасшедшим?

— Нет, — сказал Лех. — Просто любопытно знать, откуда у вас возникло такое желание. Если вы не сумасшедший, у вас должны быть веские причины. Изложите их, я внимательно выслушаю.

— Вы хорошо держитесь.

— А чего вы ожидали — что я визжать начну? Я, знаете ли, всякое повидал, и многое было постраш-

нее растущих из тела цветов и подготовленного к взрыву рудника.

— Может быть, так даже лучше... — сказал Крымов. — Вдвоем мы быстрее справимся. Вы боитесь смерти, Лех?

— Кто же ее не боится?

— Пожалуй, я неправильно сформулировал. Вы не побоитесь умереть, если это понадобится человечеству?

— Если я буду знать, что человечеству это действительно необходимо.

— Хорошо. Пойдемте.

Крымов толкнул ближайшую дверь — это оказалась биологическая лаборатория, жестом пригласил Леха. Робот вошел следом за ними и встал у входа, опустив руки по швам. Они сели на разные стороны широкого белого стола, заставленного штативами с чистыми пробирками и неизвестными Леху приборами — некоторые выглядели явно самодельными.

— Марию вы видели, — сказал Крымов. — Видели ведь?

— Разумеется. Что случилось с Туlichem?

— Не нужно, — сказал Крымов. — Я не могу рассказывать. О таком помнить нельзя, не то что рассказывать... Иной разум. Эта планета имеет своих хозяев, господа, если бы кто-нибудь догадался раньше... Вот! — крикнул он, указывая на что-то невидимое. — Чувствуете?

— Что?

— Запах.

— Ну да, — сказал Лех. — Еще бы. Этот запах меня форменным образом преследует.

Крымов горько покривил губы:

— Еще бы ему вас не преследовать... Это и есть хозяин, понимаете, Лех? Запах. Разумный запах. Сгусток материи, существо, которое мы ощущаем как запах.

— Лихо...

— Вы не верите?

— О таком я еще не слышал.

— Косморазведчик... — усмехнулся Крымов. — У вас есть два пути. Первый — я вручаю вам все отчеты об исследованиях Гулича и Остапенко, над которыми вам придется просидеть часов пять-шесть. Второй, более простой — при вас меня исследует любой, по вашему выбору, диагност, и если он подтвердит, что я полностью нормален психически, вы поверите мне без штудирования лабораторных журналов. Что выбираете?

— Второе, пожалуй, — сказал Лех.

Крымов был здоров. Диагност не отметил даже легкого возбуждения, вполне уместного в этой ситуации. Чертовски хладнокровный парень, отметил Лех. И чертовски целеустремленный, жаль, что придется его бить, но без этого не обойтись, такой добром не сдастся, и думать нечего...

— Их открыл Остапенко, — сказал Крымов. — Запахи — это по его специальности, он химик и физиолог. Сначала он занялся ими как обыкновенными запахами, потом обнаружил, что это сложные структуры, чью стабильность обеспечивает сложная система полей.

— А собственно, почему вы решили, что они разумны? — небрежно спросил Лех.

— Во-первых, они переговариваются на ультракоротких волнах.

— Радиоволнах?

— Нет, УКВ биополя. Во-вторых, нам удалось отыскать следы деятельности, которую нельзя называть иначе, чем разумной. Конечно, они не строят домов и дорог, это им ни к чему. Но мы обнаружили, что за последние двести лет климат, магнитное и гравитационное поля планеты, а также радиационные пояса подверглись изменениям, которые никак нельзя считать проявлением деятельности слепых сил природы. Они активно преобразуют среду обитания так, как им нужно. И начали исследовать нас. Видимо, мы их интересуем не меньше, чем они нас.

— Энергетические сгустки... — медленно повторил Лех, привыкая к этим словам. — Что ж, в общем-то, ничего удивительного. Кажется, кто-то и это предсказывал.

— Ну в предсказателях во все века не было недостатка... — зло бросил Крымов, словно во всем были виноваты предсказатели.

— Так, — сказал Лех, — продолжим наши игры, подведем итоги. Вы обнаружили иной разум, попытались исследовать его, но он сам стал исследовать вас, и это привело к ряду, назовем их так, трагических эксцессов. Какое место во всем этом отводится руднику, который вы готовите к взрыву?

— Постарайтесь меня понять, — сказал Крымов почти просительно. — Это не просто негуманоиды. Самый негуманоидный негуманоид в сто раз понятнее, чем эти... Вы представляете, какая пропасть разделяет человека и энергетический сгусток? Мы знаем, что они переговариваются между собой, но какие общие понятия найти, чтобы вмешаться в этот

разговор? Пресловутые «пифагоровы штаны», с идиотским постоянством выручавшие героев старинных романов? Ряд простых чисел? Чушь. И мы ведь даже не знаем, как выглядим в их глазах! Может быть, они пытаются вступить в контакт с электромагнитными полями наших радаров? Может быть, они считают разумными наши рации, а нас — одним из явлений природы, чем-то вроде дождя или града, и нами занимаются не их ксенологи, а их метеорологи или ботаники?

— Вы считаете, что нам никогда не добиться взаимопонимания?

— Отчего же. Как-нибудь, когда-нибудь, через энное количество лет... Только заниматься этим уже не нам. Никого из нас нельзя выпускать с Сиреновой. Не исключено, что и вы, и я уже заражены чем-то, мы уже не мы, хотя ничего пока не ощущаем...

— Почему бы вам просто не выстрелить себе в голову? — спросил Лех. Бластер за поясом нагрелся и перестал холодить тело. — К чему все эти эффекты?

— Простая логика. Умирать нужно с максимальной пользой. Каким бы огромным ни было различие между ними и нами, они не смогут не понять, что причиной катастрофы, при которой неминуемо погибнут многие из них, стали их эксперименты. В будущем они будут осторожнее. А мы... перед тем как взорвать рудник, мы с помощью лазера обо всем сообщим на Смарагд.

— Мне кажется, вы чересчур пессимистично оцениваете ситуацию, — сказал Лех. — Мы можем сообщить о случившемся, за нами прилетят, нас поднимут на орбиту в герметичных капсулах.

— А вы можете гарантировать, что «сгустки» не устремятся следом за убегающими подопытными кроликами? Что герметичные капсулы обеспечат герметичность? Это же не вирусы новооткрытой планеты, поймите вы, это разумные существа с неизвестными нам логикой, эмоциями и возможностями. Нет, взрыв просто необходим. Рациональнее погибнуть с пользой. Молчите? Боитесь смерти?..

— Да не боюсь я смерти, — сказал Лех. — Я считаю, что вы пошли не по той дороге. Да, конечно, разделяющая нас пропасть, страшная несхожесть, трудности... И все же так нельзя.

— Почему вы считаете, что так нельзя? Только потому, что до сих пор ничего подобного не случилось? Скороговоркой отбарабанили «пропасть», «трудности», а в глубине души таите шаблонные мыслишки — да, конечно, сначала будет трудно, но пройдет год-два, и все наладится — к обоюдному удовольствию. А двадцать лет не хотите? Или сто двадцать? Вы не подумали, что контакт может не состояться еще и потому, что мы окажемся абсолютно не нужны друг другу? Не подумали, что в космосе могут встретиться вопросы, на которые просто не бывает ответов?

Лех долго молчал, и его собеседник тоже. Стояла адская тишина, запах, который он так долго считал безобидным ароматом трав, щекотал горло, и Леху стало казаться, что в его теле уже идет неощутимая разрушительная работа, что невидимые щупальца касаются сердца, позвоночника, мозга, превращают их в чужое, страшное...

— Итак? — спросил наконец Крымов.

— Я согласен, — сказал Лех, глядя ему в глаза. Он знал, что сейчас его взгляд, не колеблясь, можно назвать открытым и честным.

— А какие гарантии вы мне можете дать?

— Гарантии... — сказал Лех, вынул бластер и швырнул его на стол. — Вот вам гарантии. Я мог пристрелить вас в первую же минуту, когда вы еще не знали об этом. Надеюсь, этого достаточно?

— Да. — Холодок недоверия исчез из глаз Крымова. — Я с самого начала подозревал, что вы прячете оружие, как только увидел, что случилось с Мозгом...

— А что мне оставалось делать? — Лех с видом крайнего простодушия развел руками. — Он же ничего не сказал про вас, я решил, что рудник — его единоличная акция, страшно испугался, вы сами понимаете — спятивший Мозг... Я вам очень испортил?

— Не особенно. Если мы возьмемся вдвоем...

И тогда Лех ударил его, рывком рванувшись через стол, ударил жестко и метко. Крымов опрокинулся навзничь вместе со стулом, зазвенело стекло — кувыркнулся со стола какой-то самодельный прибор. Лех выпрямился, потянулся к бластеру.

Наверное, это было то самое пресловутое шестое чувство. Или просто едва слышный свист рассекаемого металлопластовой рукой воздуха. Он забыл о роботе не из беспечности — не успел привыкнуть к мысли, что земные механизмы способны причинить вред человеку. Все же он успел уклониться, и удар хотя и швырнул его на пол лицом вниз, пришелся вскользь. Он ненадолго провалился в беспмятство, а когда поднялся, цепляясь за стол, в ком-

нате уже не было ни Крымова, ни робота, и бластер исчез со стола.

По шее текла кровь, голову возле правого уха лопило так, словно туда вбили гвоздь. Видимо, Крымов решил, что робот убил его, и не стал заботиться о трупe — все равно станции вскоре предстояло превратиться в пепел.

— Марш! — вслух приказал Лех себе. Всем телом налег на дверь. Пошел по коридору, шатаясь, отталкиваясь ладонью от холодных стен. Ввалился в комнату, где стоял лазер, оперся на пульт и посмотрел вниз поверх толстой белой трубы, обвитой хромированной спиралью. Робот бережно вел к вертолету прихрамывавшего Крымова. Им оставалось метров пятнадцать.

Стараясь ни о чем не думать, Лех нажимал клавиши и крутил верньеры. Вертолет был в перекрестье визира. Крымову оставалось всего несколько шагов, хотелось плакать и кричать, и Лех, боясь, что передумает, не сможет, закрыл глаза, вдавил до упора, до хруста красную рифленую клавишу...

Когда он открыл глаза, вертолета не было. Далеко протянулась широкая полоса черного пепла, и из пепла торчали там и сям оплавленные, скрученные лохмотья металла. Капля крови звонко упала на пульт. И снова — тишина. И снова — этот запах...

— Кто же ты? — шептал Лех. — Вот ты, именно ты? Профессор? Лаборант? Экскурсант? Отойди, не лезь...

Он прошел мимо Марии, как мимо пустого места, опустился на колени рядом с опаленной землей. Нагнулся, зачерпнул ладонью пепел. Кровь начала подсыхать и неприятно стянула кожу. Тишина. И этот запах.

— Но ведь нельзя было иначе, — сказал он небу, пеплу, неотвязному запаху. — Мне плевать на ваш метаболизм, пишете вы там стихи или нет — да какое мне дело? Мне важно знать — умеете ли вы ценить жертвы и приносить жертвы? А на остальное мне сейчас наплевать, будь вы хоть кладезем галактической мудрости...

Лех мельком подумал, что нужно отыскать и выпустить Остапенко, но не пошевелился — он знал, что сможет уйти от этой черной, сожженной инопланетной земли, лишь когда наступит ночь и пепел сольется с чернотой...

1985

ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ

— Все это глупости, — сказал человек за столом. — Досужие размышления. Я уже устал объяснять, что не использую оживших мертвецов-зомби, а также заклинаний полинезийских колдунов и тайн халдейских манускриптов. Мои методы порождены нашим веком. Вы не верите, да?

Мэрфи с сомнением пожал плечами. Возможно, он и не был бы таким настойчивым, но он не мог отделаться от впечатления, что его пытаются надуть. Даже учитывая специфику ремесла его собеседника, помещение было слишком убогим — крохотная комнатуха с обшарпанными стенами, мигающая газосветная лампа, стол и два стула. Это угнетало.

— Вы только поймите меня правильно, — сказал Мэрфи чуть ли не просительно. — Я вас не знаю. Я только что вручил вам пятьдесят тысяч, чтобы вы избавили меня от... ну вы знаете, от кого. Вы обещали, что сможете сделать это так, что ни один полицейский в мире не заподозрит злого умысла. Но я бизнесмен, я привык иметь гарантии.

Человек за столом сжал губы. В его лице не было ничего демонического или преступного, профессора Ломброзо он безусловно не заинтересовал бы.

— Что ж, может быть, вы и правы, — сказал он неожиданно мягко. — Но поймите, иногда бывает лучше не знать. Это плохо кончится для вас.

— Глупости, — энергично отмахнулся Мэрфи. — Черт возьми, неужели в наше время кого-то может ужаснуть новый способ убийства? В наше-то время?!

— Ну, если вы настаиваете... — пожал плечами человек за столом. — Так и быть, в конце концов вы платите... Мы живем в мире электроники, взявшей на себя многие функции, когда-то выполнявшиеся самим человеком. Миниатюрная ЭВМ управляет вашей машиной, когда вы едете по городу, вашим телевизором, кухней, замком у входной двери квартиры и дверью гаража, садовой косилкой и прочим...

— Это очень удобно, — сказал Мэрфи. — Смешно читать, что наши отцы сами водили машину, таскали косилку по газону или поворачивали ключ в замке.

— Смешно, — согласился человек за столом. — Ну а как работает ваша домашняя ЭВМ?

— По заданной программе.

— Правильно. Компьютерами индивидуальных потребителей управляет Главный Городской Компьютер, который программируют люди, а машина делает то, что ей приказывают программы.

— Стойте! — сказал вдруг Мэрфи хрипло. — Я... Мне не следовало говорить, но я занимаюсь именно электроникой. И я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду. Компьютер не знает ни морали, ни этики, он вообще не способен думать и выполнит любой приказ...

— Вы догадливы, — похвалил человек за столом. — Изменить коэффициенты, переставить знаки, и... Ну скажите, кого сажать на электрический стул, если управляемая ЭВМ машина вдруг на полной

скорости врезалась в столб, если дверь гаража упала на голову его владельцу, если сквозь воду в ванной был пропущен ток? Если ваш домашний киберврач вместо таблетки от головной боли синтезировал вам пилюлю цианистого калия? Не автомобиль, так киберврач, не кухня, так одеяло с электроподогревом, не тостер, так люстра или унитаз. Если все домашние вещи, если сам дом ополчатся против своего хозяина, рано или поздно он погибнет, и ни один детектив в мире не докопается до истины...

— И только?

— Нет. — Человек за столом улыбнулся. — Дело не в неразумном железе, а в человеческом мозге. Видите ли, программист должен быть гением. Без ложной скромности, таким, как я. До появления второго гения я неуловим и неуязвим. Но гении рождаются крайне редко...

— Пойдите! — почти крикнул Мэрфи, подавшись вперед. Его волевое, энергичное лицо бледнело на глазах. — Дом-убийца, говорите? Но ведь точно так же кто-то может заплатить вам... или другому гению и за меня? Тогда МНЕ придется с ужасом смотреть на свой телевизор и бояться сесть в машину? И рано или поздно...

— Я же вас предупреждал: иногда лучше не знать... — сказал человек за столом и отвернулся, чтобы не смотреть на Мэрфи, неуверенными слепыми шажками идущего к двери.

«Безусловно, сенсацией дня следует считать самоубийство президента концерна «Вест Электроникал» Х. Дж. Мэрфи. Как мы уже сообщали, покойный в последнее время проявлял явные признаки умственного расстройства: отказывался ездить в автомобиле, пользоваться бытовыми электроприборами

и неоднократно делал попытки убежать, по его собственным словам, «в леса и горы, где еще нет этих адских штук». Предполагают, что на рассудок известного предпринимателя повлияли сложные перипетии борьбы с конкурирующим концерном «Норд Электроникал».

— Браво, Джек! — Президент концерна «Норд Электроникал» небрежно отшвырнул газету. — Вот это я называю отличной работой! Несомненно самоубийство, и некого подозревать! Ты, плохо смыслящий в кибернетике, смог прикинуться гением-кибернетиком так искусно, что провел этого волка! Но ведь мог не поверить, не испугаться так...

— Исключено. Не мог, как я и рассчитывал. — Джек Райлер, писатель-фантаст и с недавнего времени специальный советник концерна, сидел на подоконнике и безмятежно болтал ногами. — Во-первых, многие в глубине души продолжают верить в злокозненность электронных мозгов, даже те, кто их разрабатывает и совершенствует, и я лишь подлил масла в огонь, подвел базу под его подсознательные страхи. Во-вторых, только человек без врагов не испугался бы, а разве он был человеком без врагов? Извините, шеф, но на его месте вы вели бы себя, очень возможно, точно так же. Вас ведь тоже никак нельзя назвать человеком без врагов...

— Послушай, Джек, — глухо сказал президент. — Все это, конечно, фантастика, но... Как ты думаешь, может найтись, не в твоём романе, идею которого и все права мы купили, а в жизни гений-кибернетик, способный превратить дом в убийцу? Так, как ты говорил Мэрфи?

Райлер молчал. Смотрел в окно на бесконечный поток автомобилей, которыми управляли компью-

теры размером с пачку сигарет. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Занятные дела, шеф. Я по дороге к вам заходил к ребятам из отдела безопасности, посмотрел сводки. В одном спортивном магазинчике недавно раскупили все велосипеды и сделали срочный заказ на большую партию. А магазинчик этот рядом с нашим залятым другом, «Ист Электроникал». Буквально через дорогу, знаете ли...

Он спрыгнул с подоконника, подошел к столу и взял чашку кофе, только что сваренного киберповаром. Глядя ему в глаза, президент медленно-медленно отодвигал свою и думал, как это глупо, ее отодвигать, потому что все равно придется ехать домой на машине, а дом насыщен электроникой, кроме разве что зубочисток и авторучек, что и замок на двери его кабинета управляется компьютером, и входная дверь здания. И каждый день ему необходимы кибермассажист и киберврач. И любая безобидная домашняя мелочь...

Кофе из опрокинувшейся чашки залил бумаги на столе, но уголок газеты с сенсацией дня остался сухим.

1982

О ДАЛЬНИХ ЗВЕЗДАХ, ЛЮБВИ И СНЕЖНОЙ ЕЛИ

*Галактическая новогодняя сказка
в подражание С. Лему*

Так уж исстари повелось — как появится у короля дочка на выданье и съедется ко двору изрядное количество женихов-соискателей, отправляет король сих соискателей подвиги совершать. А уж по результатам и честь. Немного, правда, на лотерею похоже (ибо Фортуна капризна), да уж коли прапрапрадедами заведено... Привыкли, в общем. И невесты, и соискатели.

Но когда король Арктур Третий, чьи владения из семи созвездий состояли, собрал кандидатов в зятья и провозгласил свою волю, обсуждению подлежащую, охнули кандидаты и крепко призадумались. Ибо пообещал король прекрасную Веронику тому, кто Снежную Ель добудет и для новогоднего бала во дворец предоставит.

Разное про Снежную Ель рассказывали. Что она — самое прекрасное во всей Галактике дерево, что напоминает радужное кружево, из прозрачно-

го инея сотканное, что приносят ее ветви счастье влюбленным и исцеление увечным. Вот только никто ее не видел, не говоря уж про то, чтобы знать, где растет. Лет пятьсот назад, правда, привез кто-то из капитанов веточку. Да был он из той отчаянной братии, чьи звездолеты теоретически и летать-то не могут — сквозь щели вакуум в трюм сочится, корпус едва ли не проволокой стянут, а бортовые компьютеры от старости заговариваются. Однако же летают лихачи и частенько гибнут так, что ни слуху ни духу. Так и тот капитан, рискуя головошкой, нырнул на дно Магелланова облака, да назад не вернулся. Про карты и речи нет: эта братия со времен первых звездоплавателей без карт и компасов Вселенную бороздила.

Приздумались кандидаты. Народ вообще-то хваткий был, привыкший и с космическими чудиськами биться, и клады добывать, в глубине голубых гигантов укрытые. Однако здесь — поди туда, не знаю куда... Половина сразу отступилась — разъехались по созвездиям-королевствам, где условия полегче. А остальные сдаваться не собирались. Взмыли с королевского космодрома звездолеты, фамильными гербами украшенные, и помчались кто куда, кометы распугивая.

И каждому выпала судьба особая. Маркиз де Бетельгейз, путешественник опытный, вначале стойко выдерживал курс на звезду Джанетту, где на семи планетах редкие деревья произрастают. Но встретил он стаю звездных драконов, увлекся, клинок лазерный выхватил и упоенно охотой занялся.

Графу Орионскому какой-то нищий бродяга, на половинке ракеты по космосу ковылявший, посулил

указать верный путь к Снежной Ели. Да обманул: оказался лиходей пособником пиратов, засевших в Крабовидной туманности, где мрак непроглядный, как нельзя более для разбойников подходящий. И угодил граф в темницу, где печально стал ждать, когда его родня выкупит.

Барону Альтаирскому вовсе не повезло: наткнулся он на хищную звезду-живоглотку, в засаде притаившуюся. Храбро сражался барон, да силы не равны оказались. Проглотила его звезда с космолетом вместе, только реактор ядерный выплонула, чтобы желудок радиацией не расстроить.

Так один за другим претенденты из игры и выбывали. Один гигантский золотой астероид загарпунил и в алчном восторге домой умчался. Космолет другого, в Млечном Пути плывя, на риф натолкнулся, затонул, и бедняга едва сумел вплавь до необитаемой планеты добраться — хорошо еще, близко она оказалась. А там и остальные, веру в победу утратив, махнули рукой и звездолеты восвояси погнали.

И остался один-единственный, принц Ганимедский. Пролегла перед ним бездна черная, необъятная, редкими звездами иногда освещаемая. Но продолжал он гнать звездолет в полумраке, потому что любил принцессу. В отличие от прочих, либо на приданое из трех с половиной созвездий зарившихся, либо из спортивного интереса на конкурс записавшихся.

Долго звездолет погружался в бездну, где морозы в тысячу градусов ниже нуля, а те звезды, что еще не замерзли, светят так тускло, что и трубку от них не раскурить. Любовь ум обостряет и волю к борь-

бе, и догадался принц: Снежная Ель растет там, где холода вовсе уж немыслимые. Не зря она Снежной названа.

Хватало препятствий: бросались на звездолет ледяные драконы, антенны откусили и дюзы изгрызли, крошился металл от лютого холода, и даже верный лазерный меч в ледышку превратился, и пользы от него не стало. Понемногу замерзали приборы и из строя выходили, но шел и шел звездолет вниз: сердце смелое и любящее не замерзает...

...Стража на королевском космодроме сперва решила, что какой-то нищерброд милостыню просить прилетел, и уж было взащей гнать собралась. Потому что звездолет, на посадку шедший, и кораблем-то назвать не рискнули: так, лохмотья железа, бог знает каким чудом не развалившиеся, а реактор — тот и вовсе к корпусу перевязью от меча приторочен. И бросилась было недремлющая стража вытолкать нахала, но вышел из корабля, шатаясь, человек в клочьях скафандра некогда богатого. И мириадами крохотных радуг отразились лучи прожекторов космодромных в прозрачных, как хрусталь, ветвях дерева, что человек в руке нес. В ветвях Снежной Ели.

Ну а потом? Да традиционно. Был новогодний бал в тронном зале, посреди коего Снежная Ель невыразимо прекрасно сверкала. И король от радости пыжился, предвкушая, как ему теперь короли соседние завидовать станут: ведь ни у кого больше такого нет! И свадьба была. Вот только надул король зятя — вместо трех с половиной созвездий, что обещал, подсунул одно, да и то самое маленькое, из пяти звезд вроде тех, что на иных гербах. Но какое это имеет

значение, если любишь? Да и короли свои обещания только в сказках честно выполнили, а наша история, если астрономам верить, в самом деле произошла то ли далеко-далече, то ли поближе, то ли давным-давно, то ли вчера. А может, только еще случится: в новогоднюю ночь ведь все возможно. А если любишь, тем более.

*Впервые опубликовано
31 декабря 1982 года*

ОН ЖЕ — НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕНИЙ

— Вот, пожалуйста, — сказал он и протянул мне папку — картонную, потрепанную, с оторванными завязками. — Только вот почерк у меня, да и написано сорок лет назад...

— Ничего, — сказал я. — Для него это не имеет ровно никакого значения. Спасибо, вы нам очень помогли.

— Не за что. Я думал, это вообще никогда не понадобится... До свидания.

— До свидания.

Он пересек залитую солнцем комнату и закрыл за собой дверь, возвращаясь к своему старому электрическому чайничку и толстому ленивому коту со странной кличкой Шлопс. Я пробежался по клавишам «Джонса» и один за другим стал закладывать в прорезь ввода пожелтевшие листки, исписанные мелким неразборчивым почерком. Опустил последний, и «Джонс» принялся перерабатывать каракули Степанова, переводить их на свой родной и единственно понятный язык нулей и единиц. Это должно было занять минут шесть-семь, и у меня осталось время посидеть на подоконнике с чашечкой кофе. Кофе бесподобно варит Аганян и скрывает рецепт

не менее твердокаменно, нежели американцы состав своего коричневого порошка, из которого получают кока-колу. Ребята из отдела Колычева пытались разгадать секреты Аганяна с помощью своего компьютера, но ничего у них не вышло — супер, варьируя и логически размышляя, преподнес им три миллиона сто сорок восемь тысяч пятьсот шесть способов приготовления, и не нашлось смелого человека, который согласился бы убить полжизни на эксперименты.

Но не будем отвлекаться. Начнем с того, что среди всего уникального литература, вернее, писатель как таковой — самое уникальное явление, какое только существует во Вселенной. Законы, управляющие развитием общества или, например, истории в литературе неприемлемы. Ну да, разумеется, Шолохов мог написать «Тихий Дон» или «Поднятую целину» только в СССР, только в советское время, но для того, чтобы их написать, требовался, кроме России и советского времени, еще и Шолохов.

Предположим, что Попова или братьев Райт никогда не существовало в истории техники. Умерли в детстве, утонули, попали под лошадь, застрелились от несчастной любви или вообще не родились — и что же? Радио или самолет изобрел бы кто-нибудь другой, быть может, позже, но изобрел бы. Обязательно. Мы знаем, что бывали случаи, да и сейчас такое случается, когда два человека, не зная друг о друге, почти в одно и то же время изобретали одно и то же. Мы знаем о полуграмотном портном, самостоятельно составившем таблицу логарифмов, не зная о том, что она уже составлена. То же самое было с фотографией, телефоном, кинематографом, велосипедными шинами и многим другим — в разных местах одновременно работали

разные изобретатели, и тот, кому больше повезло, становился первым.

В литературе такое невозможно. Самый бездарный, самый плохой писатель уникален, что же тогда говорить о гениях? Их появление — результат слепой игры случая. Если бы Лев Толстой погиб в Севастополе, а Горький во время босяцких странствий по России, если бы Хемингуэй был не ранен, а убит тем снарядом, того, что написали они, не мог бы написать кто-нибудь другой. Что-то похожее, что-то на ту же тему, но не «Война и мир», не «Мать», не «Острова в океане»...

И наоборот. Пушкин и Лермонтов убиты на дуэли, Ричард Хьюз успел написать два романа из задуманной тетралогии, Томас Вулф умер от пневмонии в неполных сорок лет, Байрон — от лихорадки в тридцати шесть, Лорка расстрелян фалангистами, Маяковский и Есенин погибли молодыми. Бальзак, Чехов, Джек Лондон, Марло, Стивенсон, Гашек, Джалиль, Чапыгин, Шукшин, Куваев — бесконечный список тех, кто ушел из жизни, полный нереализованных планов...

Мы примерно знаем, как и чем должны были завершиться похождения бравого солдата Швейка, «Сент-Ив» дописан Квиллер-Кучем, но это не то, мы никогда не узнаем, что сделал бы сам автор со своими героями. Автор мертв. Ни один человек на Земле не дописал бы книгу, как дописал бы он сам, и не напишет новую. Получается, что в одном-единственном случае солипсисты правы: со смертью писателя исчезает Вселенная, которую видел и мог рассказать о ней другим только он.

В связи с этим возникает проблема Великого Неизвестного Писателя. Во многих странах есть

Могила Неизвестного Солдата, но это совсем не то — у каждого Неизвестного Солдата есть имя и фамилия, он не абстрактное понятие, он числится в каких-то воинских списках, обязательно есть люди, которые знали его, он был чей-то сын, отец, муж, и его таким помнят.

С Великим Неизвестным Писателем обстоит гораздо хуже. Его никто не знает, а иногда его просто и не было на свете. Из-за того, что безусый новобранец не вернулся из атаки, из-за того, что первокурсник попал под автобус в Харькове или Париже, из-за того, что вьетнамский школьник попал под бомбежку в 1965-м или польский в 1939-м. Вполне допустимо, что в результате тех или иных событий человечество потеряло великого писателя, и не одного, еще один великий роман, еще одну пьесу, еще одну поэму. Еще один шедевр.

Помните у Марка Твена «Путешествие капитана Стормфилда в рай»? Каменщик из-под Бостона Эбсэлом Джонс мог стать величайшим полководцем всех времен и народов. Мог, но не стал, случая не представилось, не попал в армию из-за худого здоровья. Не было обоих больших пальцев, двух зубов, и оттого его не взяли на войну.

Это о прошлом, а сейчас у нас есть «Джонс», суперкомпьютер, названный в честь твеновского каменщика. Сама по себе идея машины, оценивающей творческие возможности, взята нами из фантастики, помните «Девушку у обрыва»? Еще одна идея фантаста, претворенная в жизнь технарями, — не первый случай. «Джонс» — это девять лет работы и стопроцентная надежность. Разумеется, он не сможет охватить все четыре миллиарда землян, но, по крайней мере, мы будем точно знать, что представляет собой

тот или иной из литераторов. Будем следить, чтобы не промотать гения.

...Похоже, «Джонс» закончил, сейчас выпрыгнет перфокарта с оценкой. Над прорезью, из которой она выпрыгнет, три большие красные лампы — это тоже связано с оценками, все три горели для Толстого, Фолкнера, Достоевского и других великих. Может быть так, что сейчас загорится вполнакала хотя бы одна.

Пустая чашка разбилась — меня смело с подоконника. На кремовой панели налились густой красной все три лампы, ВСЕ ТРИ налились и лопнули с дребезгом, осколки посыпались на пол, отчаянно заверещал звонок — форсаж! Мигнуло зеленое табло — «Джонс» выключился, сработали предохранители, спасая суперкомп от разрушения...

Мы предусмотрели все, кроме того, что трех ламп окажется недостаточно. Ни мы, ни «Джонс» не предусмотрели появления гения, для которого три лампы — не потолок. А где его потолок? Сначала ответьте, где потолок у небосклона...

Вопль сирены отвлек меня, и я вслушивался, пока не понял, что «Скорая» стоит в нашем дворе, а по коридору давно уже бегает, и определенно что-то случилось. Тогда я подмел стеклянное крошево, выбросил его в урну и пошел узнать, в чем там дело.

...Как они объяснили, ничего нельзя было сделать. Степанов умер мгновенно — осколок, добившийся до его сердца тридцать шесть лет, наконец-то добрался. Кое-какая работа для врача все же нашлась — он дал мне что-то выпить и что-то понюхать, со мной случился какой-то глупый полубоморок, и все ужасно встревожились, но в конце кон-

цов решили, что я просто заработался, в век стрессов такое бывает.

Потом они уехали, увезли Степанова, а я сидел в его комнатке, кот со странной кличкой Шлопс вертелся под ногами, и тут же торчали Танечка с Колычевым, держа наготове нашатырь. Мне удалось их убедить, что я не собираюсь падать в обморок вновь, и вообще я здоров как бык, так что пусть они возвращаются на рабочие места и не разводят панику. И они ушли, а я остался думать о Степанове, перебирая в памяти то, что было известно.

Степанов Илья Никитич, 1920 года рождения, в сороковом поступил в ИФЛИ, и все, что успел он написать, — те самые тридцать страниц, начало повести о полярных летчиках «Лед на крыльях». У него была еще папка, но в войну она пропала. Потом для него был сорок проклятый год, война, стрелковый полк и в сорок четвертом — тот близкий разрыв снаряда, неизвлекаемый осколок под сердцем и контузия, после которой было уже невозможно заниматься каким бы то ни было умственным трудом. Маляр, дворник, потом сторож в нашем НИИ Степанов И. Н., он же — неизвестный гений. Мы уже никогда не узнаем, что он мог написать и о чем, знаем только, что он мог, хоть это знаем. Что он был гением, но в списке классиков никогда не будет его фамилии.

Проще и уютнее думать, что произошла ошибка, забыть про стопроцентную надежность «Джонса», мусолить теорию вероятности, вновь и вновь убеждая себя, что возможны самые удивительные, самые небывалые случайности, одна на миллиард, одна на биллион... что там дальше?

Только зря это, ни к чему. Потому что если даже произошла ошибка, досадная случайность, та, одна

на миллиард, все равно не забыть о безымянных гениях, по той же теории вероятности неминуемо существовавших. Пусть даже они не успели ничего совершить — из-за того, что автобус... безусый новобранец... пилот «Фантома»...

Остается надеяться на потомков, на то, что когда-нибудь появятся умные машины, которые и машинами, наверное, нельзя будет назвать. Машины, способные предсказать будущее каждого пищущего в люльке малыша — кем он станет, что он сможет, что он сделает для человечества. Хочется верить, что такие машины будут, и если они появятся, люди перестанут завидовать богам. Потому что сами будут знать гораздо больше.

1982

К ВОПРОСУ О КОНТАКТАХ

Низенький тщедушный старичок в белом халате вошел в аппаратную, волоча тяжеленную кувалду. Вид его был угрожающий. Лампочки испуганно пригасли, какая-то зеленая синусоида на всякий случай притворилась прямой, а пожилой компьютер Чарли, помнивший еще Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, зажег табло «Ушел в себя» и стал торопливо переводить в швейцарский банк свое неповторимое «я» и утаенные за последнюю неделю деньги за свет — а их было немало. В здании, увенчанном хитроумной антенной космической связи, воцарилась нехорошая тишина, и показалось, что где-то скорбно зарыдали невидимые скрипки.

Профессор Смит прощался с мечтой после двадцати лет яростных и бесплодных усилий по претворению ее в жизнь. Ах, какая это была мечта, леди и джентльмены, мадам и месье, мужики и бабы — синяя птица, журавль в руках, жемчужина для того, кто понимает... Установить контакт с внеземными цивилизациями — прониклись? Причем, заметьте, установить контакт именно по уникальному «методу Смита».

Двадцать лет назад профессор Смит, бодрый шестидесятилетний ниспровергатель основ и возмутитель спокойствия, решил, что проблема Контакта

требует нового, неизбежного подхода. Закладывать в космические аппараты письма, которые то ли распечатают, то ли нет инопланетяне тысячу лет спустя, посылать в сторону Магелланова Облака формулу изготовления пепси-колы, копаться в мифах древних полинезийцев, выискивая координаты братьев по разуму, в незапамятные времена посетивших Землю, — все это изжило себя. «Система Смита» была проста, как все гениальное, и опиралась на неплохое знание гуманоидной психологии — гуманоид не заметит приподнятой перед ним шляпы, но вряд ли пройдет мимо того, кто его забористо выругает...

Как всякий истый ученый, профессор Смит был педантичен и трудолюбив. Пять лет он собирал ругательства — корректные английские, пылкие итальянские, смачные русские, длинные, как анаконда, немецкие, лаконичные и вежливые японские, темпераментные испанские, экзотические барбадосские. Не довольствуясь современностью, он погружался в пыльные бездны архивов, выясняя, как изъяснялись в гневе древние ацтеки и тольтеки, викинги, воины Ганнибала, гетеры, флибустьеры, рыцари Людовика Святого и сам Людовик, монахи разных орденов, гренадеры Фридриха Великого, прачки Эскориала и Кремля, кучера Древнего Рима, австралийские каторжники, средневековые инквизиторы и их клиенты. Он вызнал, как ругал своих лакеев Генрих Восьмой (и как они за глаза его), какие словечки употребляла императрица Елизавета Петровна, когда узнавала, что пьяный повар пережег пироги с морковью, ее любимые, и что ответили французские гвардейцы под Ватерлоо на предложение сдаться.

Кроме этого, он с магнитофоном в кармане рыскал по всем портовым кабакам Ливерпуля, где поил за свой

счет боцманов и шкиперов, две недели провел в забегаловках Урюпинска, а также три раза, опередив этнографов, проникал в селения неизвестных науке племен. Как истый ученый, он был вынослив и терпелив, игнорировал досадные помехи в виде полицейских протоколов, разбитых очков, кулинарных поползновений неизвестных науке племен и лечение от алкоголизма после посещения Урюпинска. И настал момент, когда великий труд был закончен. Ругательства всех времен и народов, включая редкие диалекты восточного побережья Атлантиды, доброхотные пожертвования постояльцев Синг-Синга и урюпинского медвытрезвителя и лепту, внесенную залетным путешественником во времени, покоились в памяти пожилого компьютера Чарли (втихомолку продававшего часть этой сокровищницы авторам бульварных романов).

Последующее пятнадцать лет все это богатство двадцать четыре часа в сутки на всех диапазонах щедро выплескивалось во Вселенную. Чтобы кто-то не подумал, будто к нему это не относится, профессор Смит начинал передачи с обращения «Всем, всем, всем!». Иногда для разнообразия он ударялся в собственное творчество, и к звездам летело: «Паскуда шестилапая! Жулье кремниевое! Что молчишь, слабо?» Кое-что и процитировать нельзя — кто общался с советскими сантехниками или парижскими грузчиками, поймет...

И никаких результатов. Один-единственный раз за все эти годы приемник ожил, выдав три метра смачных существительных и энергичных прилагательных, но уже на первом полуметре выяснилось, что передачу профессора случайно перехватил и принял на свой счет экипаж бразильского траулера. Узнав, что они подключились к научному эксперименту, морячки сконфузились и попросили проше-

ния, но профессору от этого не стало легче — Вселенная-то молчала...

Провал эксперимента был налицо. Инопланетян не существовало. Существой они, кто-нибудь обязательно явился бы объясняться, не вытерпев пятнадцатилетнего поношения последними словами.

— Итак, и мы одиноки во Вселенной, — грустно сказал профессор Смит, взялся за рукоять кувалды, поплевав на ладошки...

...И в этот момент дурным мявом взвыла сирена, которую профессор украл в полицейском участке и приспособил к приемнику. Из узкой щели на хромированной панели выполз короткий кусок бумажной ленты и повис, словно приемник, дразнясь, высунул язык. На экране пеленгатора вспыхнули заветные долгожданные слова: «Продолжительность приема — десять секунд. Источник сигналов — Альфа Птеродактиля».

Профессор Смит на подгибающихся ногах добрался до пульта, трясущимися пальцами оторвал ленту и прыгающими губами прочитал текст вслух. Затем он, странно похохатывая, вернулся на середину зала, произнес несколько слов на старофранцузском и, молодецки ухнув, наугад метнул кувалду.

Что-то трещало, что-то хрустело, где-то замкнуло, где-то горела изоляция, осколки стекла, пластика и металла сыпались на обрывок ленты с надписью на одном из земных языков:

«Сам дурак, бестолочь кислородная. А еще очки надел, шантрапа белковая!..»

МОИ ВСТРЕЧИ С КГБ

*Озорные непридуманные
мемуары*

В перестройку, не к ночи будь помянута, среди почти вымершей впоследствии интеллигенции лесным пожаром распространилась мода печатно расписывать притеснения, понесенные ими от зловещего КГБ. Тон задавали, конечно же, столичные критиканы, сплошь и рядом скромно умалчивавшие о своей собственной роли в недобрые времена Большого Террора. Едва ли не яростнее всех усердствовал писатель Лев Разгон, зять кровавого чекиста Бокия и штатный сотрудник НКВД (так до конца жизни и не проговорившийся, за что именно его подгребли сослуживцы уже тогда, когда наркомом стал Берия и отправлял за решетку ежовских костоломов рядами и колоннами).

Многим разоблачителям приходилось туго: к «притеснениям» нужно было обязательно добавлять «якобы понесенные». Вот и приходилось объяснять происками КГБ попадание в вытрезвитель, штраф за переход улицы на красный свет или выговор за бытовое разложение — проще говоря, неумеренную беготню по бабам при полнейшем неумении

соблюдать минимум конспирации. Шутки шутками, а я был знаком со старшим научным сотрудником одной из научных шарашек (кстати, не пустым бездельником, а хорошим специалистом своего дела). Всякий раз, когда у него на кухне рассказывали анекдоты про Брежнева или вяло поругивали КПСС, он предварительно заклеивал изолентой дырочки кухонной розетки — «чтобы чекисты не могли подслушать». Во всех остальных отношениях это был вполне вменяемый человек. Просто очень и очень многим (что уж там, часто личностям совершенно никчемным) страшно приятно было объявлять себя персоной, находящейся под неусыпным присмотром всемогущего, всеведающего и всезнающего КГБ. Со всем другим отношением в интеллигентской тусовке, знаете ли...

Никаких диссидентов, по моим наблюдениям, в Сибири не видывали вообще. Публика эта гнездилась в основном в Москве и Ленинграде. Другое дело, что во всех слоях общества, от рабочих до научных работников, имело место вялотекущее вольнодумство. Выражавшееся исключительно в том, что травили анекдоты «про Лёньку» и опять-таки вяло поругивали компартию — без малейших попыток от слов перейти к делу. Вообще, самые смешные анекдоты про Брежнева я в свое время слышал от инструктора обкома партии, когда выпито было зело...

В рамках этого поветрия и я решил рассказать о своем общении с КГБ в советские времена. Общение случилось лишь раз, краткое и мимолетное, к тому же произошло по моей собственной инициативе. А два имевших место розыгрыша опять-таки были учинены мною самим не по воле любимого пугала интеллигенции — каковое пугало о них и знать не

знало, иначе были бы некоторые неприятности. Но, я уверен, сведшиеся бы к легкой словесной выволочке и предупреждению больше так не шутить...

Все три истории — доподлинные.

КАК Я ХОДИЛ К КРАСНОЯРСКИМ ЧЕКИСТАМ В ГОСТИ

Лет этак двенадцать назад (мемуар увидел свет в 1995 г. — А. Б.) в свой очередной приезд в Красноярск я поставил задачей отыскать местный клуб любителей фантастики. Он точно существовал, но действовал в глухом подполье: тогда партийцы как раз от невеликого ума устроили по всей стране гонения на КЛФ, бог знает с какого перепугу — в деятельности клубов не было ничего антисоветского или антикоммунистического. Скорее всего, партийные власти попросту ощерились на «самостийное» общественное движение, распрекрасно обходившееся без направляющей и руководящей роли партии. КГБ тут был совершенно ни при чем. Наоборот, я знаю случай, когда в одном большом городе именно чекисты отстояли от разгона и закрытия местный КЛФ перед партийцами. Правда, как легко догадаться, по собственным утилитарным интересам: сейчас эта публика вся на виду, регулярно собирается в городской библиотеке (и наверняка среди любителей фантастики и осведомитель имеется), а если их разгонят, начнут хорониться по квартирам и подвалам, и вычислй их потом...

В общем, КЛФ сидел в подполье. Точного адреса не знали ни в Обществе книголюбов (была такая сугубо официальная шарага), ни в Союзе писателей,

хотя парочка фантастов там имелась. А когда я вечером стал кушать водку в компании журналистов, выяснилось, что и они не знают, где искать фантастолобов-подпольщиков...

Однако меня всегда отличало нешуточное упрямство, порой крепко мешавшее в жизни, а порой изрядно помогавшее, когда перерастало в упрямство в достижении целей...

А водку я кушал в старинном здании на проспекте Мира, где тогда размещались все три редакции «больших» красноярских газет — партийно-советской, комсомольской и «вечерки». Молодое поколение акулят пера уже не помнит ни этого здания, ни расположенной аккурат напротив «стекляшки», но те, кто постарше, моментально уронят ностальгическую слезу, крупную, как яблоко. Ах, какая это была академия алкоголизма, господа... С утра и дотемна там вбивали спиртное в организм труженики пера, а после конца рабочего дня, основательно затарившись, чуть ли не до полуночи гулеванили в кабинетах. За одним столом звенели стаканами будущие «красно-коричневые», будущие «жидомасоны» и будущие «перестройщики» и так называемые демократы, еще не разбросанные вихрем перемен по обе стороны баррикад. И даже, как похмыкивают ветераны, на тополином стане очаровательной в ту пору будущей суперзвезды демократической журналистики Иришки Л. частенько оказывались те руки, которые потом назовут «когтистыми красно-коричневыми лапищами». До сих пор сожалею, что не мои — будущая перестройщица была беспутно красива, а супружескую верность полагала пережитком Средневековья...

Надо сказать, что я, не в пример интеллигентам, полностью был лишен патологического страха перед

«всемогущим и всевидящим» КГБ. Не из храбрости, а по чисто техническим причинам: просто-напросто не умел эту контору бояться. У аравийского бедуина нет генетического страха перед крупным зверьем, которое там не водится, а таежный эвенк не умеет бояться песчаных бурь, о которых в жизни не слыхивал. Так и со мной: с интеллигенцией впервые столкнулся и плотно стал общаться в двадцать три года, а до того шесть лет после окончания школы жил и работал в насквозь аполитичном мире шоферов, почтальонов, грузчиков, слесарей и рабочих геологических партий. Они и КГБ существовали в разных измерениях, на моей памяти пересекавшихся лишь однажды (этот эпизод вошел в роман «Темнота в солнечный день»). Привычным злом в этом мире были исключительно милицейские патрули и вытрезвительские машины. Даже когда я в 1976 году смастерил большущий значок с портретом Хрущева (и фото, и подпись были вырезаны из старого энциклопедического словаря) и дня три бродил с ним по местам скопления народа, в этом не было ни тени диссидентства — просто-напросто прикол. В конце концов значок я выкинул в урну — ровным счетом никто на него не обращал ни малейшего внимания, а вездесущие агенты КГБ, надо понимать, бродили где-то в других местах...

Одним словом, когда сидевшие в кабинете были уже хороши, а заветных координат КЛФ я так и не узнал, на пьяный ум пришла простая до гениальности идея. Сгребши телефонный справочник, я быстро отыскал номер привратничкой КГБ и тут же его накрутил.

Трубка браво рывкнула:

— Дежурный прапорщик Такой-то!

— Вот что, прапорщик, — сказал я вальяжно. — А дайте-ка мне телефончик отдела по наблюдению за общественными организациями и тому подобным прочим...

Те из журналистов, кто еще мог воспринимать окружающее, обратились в подобие соляных столпов и сблестнули с лица, забыв выпить налитое.

Честное слово, я до сих пор не знаю, был ли в КГБ отдел с таким или схожим названием. Но прапорщик Такой-то, полное впечатление, ничуть не удивившись, продиктовал мне аж четыре номера. Я их записал на поля лежавшей тут же газеты и принялся звонить, рассудив: хоть на дворе уже и девять вечера, но ведь поется же: «Служба дни и ночи»? Как учили нас книги и фильмы, настоящий чекист и в ночь-полночь обязан вдумчиво курить у окна, бдительно шуря усталые глаза.

Три номера не отозвались. Четвертый откликнулся. Беседа состоялась примерно такая:

— Это КГБ?

— Да, это КГБ.

— А это писатель Александр Бушков. Что знает — какой? Знать надо. КГБ вы или кто? В общем, у меня к вам дело, так что я завтра утречком и зайду. Комната у вас какая? Вот у вас лично?

На другом конце провода растерянно помолчали, потом сообщили номер комнаты и заверили, что завтра там обязательно будут. Я с чувством выполненного долга положил трубку, и тут-то только на меня накинулись враз протрезвевшие журналисты вкупе с молодым классиком красноярской фантастики Олегом К. На лицах у них был такой ужас, словно я был не я, а Фредди Крюгер. Газету с записанными на полях телефонами порвали в мелкие клочки и вы-

кинули в урну (чтобы не оставлять им улики!), трясущимися руками мне кинули шубу и шапку, велели убираться восвояси и сами кинулись врассыпную. Кто-то мрачно уверял, что убежать бесполезно, ибо супераппаратура КГБ уже засекла и откуда звонили, и кто был в кабинете, так что ночью всех возьмут тепленькими. Кто-то кричал, что кагэбэшники уже сюда едут с овчарками и кандалами. Я хлопал глазами, искренне не понимая, отчего такой переполох — я же не орал в трубку антисоветские лозунги и не призывал к свержению советской власти на манер этого... как его там, запоматывал, Солжункова, что ли...

Поутру Олег К., у которого я заночевал, был мрачен и даже, что для него вещь доселе небывалая, отказался похмеляться, настаивая, чтобы я немедленно отправился в КГБ сдаваться — коли уж имел глупость назваться настоящим именем.

— Тебя посодют, — убежденно говорил он. Подумав, убежденно добавлял: — И меня тоже, я рядом стоял...

В КГБ я прибыл, не опохмелившись и не проспавшись толком после вчерашнего, а потому ни черта и не боялся. Номер комнаты я запоматывал. Но подтянутый прапорщик, коего я, деликатно дыша в сторону, попросил позвать «какого-нибудь дежурного», весьма даже вежливо пригласил в приемную и стал названивать по внутреннему телефону.

Приемная у них слева, как войдешь. Довольно уютная, без решеток, на окнах, с полированным столом, но без единой пепельницы. Пока я гадал, прилично ли будет стряхивать пепел в цветочный горшок на подоконнике, пришел товарищ в штатском, обаяния и шарма невероятного. «Этот, пожалуй, в вытрезвитель не сдаст, глаза вон хорошие-доб-

рые», — подумал я, воспрянув духом, предъявил ему удостоверение корреспондента органа Хакасского обкома КПСС и одноименного облисполкома, газеты «Советская Хакасия». Чекист покачал головой:

— А на фото вроде бы и не вы...

Востроглазый! Я в это удостоверение вклеил свою фотографию, сделанную фотоавтоматом в абаканском аэропорту со вздыг пьяного оригинала. Узнать меня там и в самом деле было трудненько — пьяный отличается от похмельного, как негр от китайца. Пришлось показать паспорт с фотографией трезвого обличья. И изложить суть дела: где в Красноярске таится клуб любителей фантастики? Ни одна собака не знает, но уж здесь-то...

Как я ни старался дышать в сторону, боюсь, силовых ароматов в приемной витало столько, сколько она не видела за все время своего существования. Однако обаятельный чекист и бровью не повел, лишь пожал плечами и развел руками: у них тут, сказал он, о красноярском КЛФ слухом не слыхивали.

— Да как это так? — воззвал я в неподдельном изумлении, оскорбленный в лучших чувствах. — Вы КГБ или кто? Вы обязаны все знать!

Чекист мягко пояснил, что слухи о всемогуществе и всезнании ведомства, которое он имеет честь представлять, преувеличены — не то чтобы несколько, а изрядно. «И этих наши интели патологически боятся?!» — подумал я и наладился уходить, воспитанно извинившись за беспокойство. Но чекист, прямо-таки расцветши (или расцветя, как правильно?), заверил, что никакого беспокойства не было, что он рад моему визиту и очень польщен — их, оказывается, удручает, что кто-то кое-где у нас порой совершенно безосновательно боится КГБ и рассказывает о нем

всякие ужасы. А потому ему очень даже приятно, что молодой писатель заглянул к ним совершенно запросто, по чисто бытовому вопросу, пусть даже контора, увы, ничем помочь не в состоянии. Гармония между народом и бывшими карательными органами воцарилась полная. Правда, закурить не удавалось.

«Ишо вербанут похмельного-то, ироды!» — ужаснулся я, бочком-бочком ускользая через вестибюль, а обаятельный чекист вежливо меня провожал, поведав, что и в абаканском их отделе работают совсем даже не звери, а исключительно приличные люди, огорченные тем, что их боятся, и они всегда рады гостям, молодым писателям особенно, ибо все слухи... (см. выше).

Ускользнул я незавербованным. Олег К., когда я возник на пороге с охапкой пивных бутылок и сообщил, что явно не посодют ни меня, ни его, долго еще теребил бороду и качал головой:

— Нет, тут тонкая игра, дьявольский умысел... За тобой никто не шел?

Но потом, выпив изрядно пива, дьявольских умыслов КГБ опасаться перестал. И правильно: совершенно никаких последствий эта история не имела. Абаканский отдел КГБ я посетил только раз. О чем следующая быль.

КАК Я ЗАКЛАДЫВАЛ В КГБ МИХАИЛА УСПЕНСКОГО

Этак через годик после вышеописанных событий занесло ко мне в гости, в град Абакан, доброго знакомого, замечательного писателя-фантаста — юмориста Михаила Успенского. Естественно, было пито, и зело, благо я был холсст и пару лет жил в двухкомнатной

квартире один, если не считать дога. Но дог, разумеется, в этом празднике жизни участия не принимал.

Утром я, по долгу хозяина, проснулся раньше гостя, обнаружил, что выпито все до капли, а еще вчера обнаружилось, что на банкет мы просадили все до копеечки. Вот я и стал думать, где раздобыть денег на необходимое лечение.

Думал недолго: в столе обнаружилась забытая двадцатипятирублевка. А в те унылые времена диктатуры КПСС на такую денежку можно было приобрести десяток бутылок сухого болгарского вина или два ящика пива. Еще и на скромную закуску осталось бы. Воспарив душою к небесам и дожидаясь, когда проснется гость, я как-то моментально — порой с похмелья ум обостряется — придумал отличнейший розыгрыш. «Юморист, говоришь? — подумал я по поводу гостя. — Будет тебе юмор...» Нужно добавить, что не так давно Успенский с еще одним красноярским писателем меня качественно разыграли, так что подворачивался случай взять реванш. Я знал: в свое время у Михал Глебыча были мелкие неприятности с КГБ. Живя в одном закрытом городе, он как-то неосмотрительно оставил в общественном туалете (подозреваю, спяну) не то чтобы диссидентскую, но этакую полузапрещенную рукопись — не собственную, чужую. Все притеснения свелись к недолгой беседе в тамошнем КГБ, но с тех пор Успенский жил с тем самым затаенным интеллигентским страхом перед «кровавой гэбней»...

Проснулся Успенский и, в свою очередь обнаружив, что вчера все было выпито до капельки, грустно продемонстрировал пустые карманы.

— Аналогично, Миша, — сказал я печально. — Повлечемся же в город, ибо мир не без добрых людей...

И мы повлеклись по утреннему городу — две похмельных фигуры с неописуемыми рожами, из которых одна была исполнена безденежного пессимизма, а другая предвкушала потеху. Абакана Миша не знал и не предполагал, что я веду его прямым ходом к улице Щетинкина, где в многоэтажном кирпичном здании размещался городской отдел внутренних дел, а в двухэтажной пристройке, на втором этаже, городской отдел КГБ. С соответствующими вывесками, понятно. Идти было меньше километра, так что довлеклись быстро.

— Есть идея, Миша, — сказал я безжалостно. — Помнишь, что ты вчера наговорил и какие анекдоты рассказывал? То-то... Так что сиди здесь, никуда не уходи, а я сбегаю в КГБ и расскажу про вчерашнее. Много за тебя не дадут, но на опохмелку хватит...

Миша увидел вывеску. Миша ужаснулся. Оставив его остолбеневшим, я зашел в здание. Дежурный милиционер свирепо кинулся было мне наперерез с возгласом «Куда?!», враз оценив мою рожу, но я, уверенно направляясь к лестнице (несколько лет назад я тут бывал, привозил телеграмму, когда работал на главпочтамте), покосившись через плечо, небрежно бросил:

— В КГБ...

Дежурного как вихрем отнесло — тоже, должно быть, читал книги и смотрел фильмы, а потому знал, что рыцари плаща и кинжала могут появиться в любом виде. А я спокойно поднялся на второй этаж, в логово кровавой гэбни.

Самое тихое местечко бывает возле двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен» — свои все внутри, а чужие здесь не ходят. Так и здесь — чекисты сидели за единственной на площадке дверью,

железной, с кодовым замком и звонком, а крохотная лестничная клетка была приспособлена под курилку — несколько стульев и урна.

Как и в прошлый мой визит, было пусто и тихо. Никто не выскакивал с бравым видом и не мчался ловить шпионов. Иностранные шпионы в Абакане, несомненно, имелись — там было несколько интересных для любой разведки предприятий. Но ловили их наверняка без топота сапог по лестницам и воя сирен.

Не спеша выкурив сигаретку, я вышел на улицу, показал Успенскому четвертной и сообщил:

— Вот видишь, много за тебя не дали, но поправиться нам хватит. Да ты не бойся, никто тебя не посадит, еще одну бумажку в досье подошьют, и все дела...

Нижняя челюсть великого юмориста оказалась где-то в районе пупка, а с лица его можно было ваять аллегорическую маску под названием «Обреченность». На лице этом причудливо мешались ужас и радость предстоящей опохмелки. Как я и думал, победило второе.

Четвертной, конечно, качественно пропили. Как ни пытался я объяснить суть розыгрыша, Миша, кажется, так и не поверил, что это был розыгрыш. Иногда мне думается, что именно эта история подвигла Глебыча на рождение гениальной строки «Жить всегда страшно, а с похмелья тем более...»

КАК Я ВЕРБОВАЛ СТУКАЧА ДЛЯ КГБ

Дело было в городе, который я из жалости кое к кому называть не стану. В общем, далеко от Красноярска.

История эта связана опять-таки с клубом любителей фантастики. Точнее, со всесоюзным слетом тако-

вых клубов. Это года через два начались партийные гонения на КЛФ, а тогда на многое смотрели сквозь пальцы и подобный слет разрешали. Благо казенной копеечки тратить не приходилось — любители фантастики добиралась и жили за свой счет, частенько преодолевая полстраны либо с востока на запад, либо с запада на восток.

Каюсь, опять придется начинать со слов «было пито». Было пито. И зело. И вышло так, что мой хороший знакомый, активист местного КЛФ, пожаловался: есть у них один молодой и не по-хорошему шустрый член, который неизвестно куда смотрит, но явно не туда, неизвестно чего добивается, но явно не хорошего, плетет какие-то неумелые интриги и вообще, есть стойкие подозрения, постукивает легонько на манер дятла известно куда. Не уличен, но подозрения сильные. Но нет, увы, аппаратуры, способной читать чужие мысли. А знать точно хотелось бы, пока студент не наворотил дел...

Все мы были хороши. Для иллюстрации упомяну лишь, что я, отроду не игравший ни на чем, кроме чужих нервов, сел за пианино и брякал по клавишам наугад, а слушатели моей «игры» всерьез аплодировали — пикантность в том, что среди них было два профессиональных музыканта. Но даже в столь веселом состоянии я вспомнил, что успел присмотреться к вышеупомянутому хитрому члену и составить о нем нелестное мнение. А потому решительно заявил:

— Щас сделаем, посмотрим, чем дышит...

Дело происходило в одном из ДК миллионного города, переделанном из большой церкви. На нескольких этажах весело пили любители фантастики со всех концов великой и необъятной страны, тогда еще не разлетевшейся на пятнадцать обломков. Но

пустых кабинетов оставалось еще достаточно. Опрокинув еще стаканчик, я отыскал шустрого студента (пившего мало), завел его в пустой кабинет, грохнул кулаком по столу и рявкнул:

— Молчать! Я старший лейтенант КГБ! Работать на нас будешь? Молчать, говорю!

Вру безбожно. Изрядно преувеличивая. Кулаком по столу я не стучал, просто-напросто представился старшим лейтенантом КГБ (естественно, не предъявив никаких документов — откуда бы им у меня взяться?) — деликатно и мягко начал вербовку, без малейших угроз и запугиваний. Вербовка эта заняла у «товарища старшего лейтенанта», чем хотите клянусь, не более пяти минут...

И через сутки этот милый мальчик принес мне довольно объемистую «оперу», где подробно освещал жизнь и деятельность КЛФ, давал развернутые характеристики активистам и тщательно перебрал их всех в плане потенциального диссидентства либо потенциального сотрудничества с доблестными органами, представляемыми товарищем старшим лейтенантом. Блевать хотелось. С тех пор я не верю, что стукачей вербуют компроматом или угрозами — ну некоторых безусловно да, однако в сто раз больше потенциальных «инициативников» ради повышения собственного благосостояния или из личной неприязни готовы стучать, как турецкие барабаны. Нужно только попристальнее присмотреться к человечку и правильно угадать...

Эпистоляр этот я дал прочесть ребятам из КЛФ, предварительно взяв с них самые страшные клятвы, что они и пальцем не тронут юного дятла, ни словечком не намекут. Слово они сдержали. А юный дятел еще с год писал мне теплые письма, жалуясь, что никто не выходит с ним на связь, хотя он

горит желанием ударно работать на славную советскую госбезопасность. Мальчишечка оканчивал институт, предстояло распределение (в те времена выпускник вуза обязан был отработать три года там, куда пошлют), угодить куда-нибудь в глушь не хотелось, так что нельзя ли каким-то образом оказаться в штате известной конторы или иным образом с ней задружить, пусть неофициально?

В конце концов я написал ему, что вынужден был уйти из конторы по серьезной аморалке, несовместимой с погонами, — и переписка оборвалась. Но иногда я подумывал: а может, шустрый мальчик все же ухитрился по собственному горячему желанию сесть на крючок к реальному оперу? Как говорится в известном пошлом анекдоте, этот может... Вот так обстояли дела с вербовкой агентуры — да наверняка и сейчас обстоят.

В КГБ об этой моей выходке так никогда и не узнали — иначе, к бабке не ходи, притащили бы к себе за шиворот и дали нешуточный словесный втык за самозванство. На их месте я так бы и поступил.

Вот такие хохмочки и послужили в свое время причиной стойких слухов, что А. А. Бушков — то ли стукач, то ли даже законспирированный боец невидимого фронта при погонах. Спорили лишь о звании...

1995

ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО

Потом несколько лет я и КГБ существовали в разных пространствах, и я было решил, что так будет вечно. Тем более в стране забушевала перестройка,

не к ночи будь помянута, и очень быстро КГБ оказался категорически не при делах, ограничиваясь унылой фиксацией происходящего и служа лишь мишенью для критики, порой откровенно шизофренической...

Оказалось, я крупно ошибался. На излете перестройки все же произошло соприкосновение с КГБ — именно это слово и следует употребить. Никакая не встреча, а соприкосновение, причем заочное. Подробности об этом попозже.

Зато имело место уже нечто более серьезное, ничуть не напоминавшее прежние веселушки. В марте 2000-го я оказался в Чечне вместе с группой Центра спецназа ФСБ (конкретно — с «вымпеловцами», выполнявшими не боевую, но крайне серьезную задачу). Так уж получилось, что и я оказался чуточку причастен к одной из операций обеспечения этой самой задачи — опять-таки без выстрелов и молодецких ударов пяткой в челюсть. (Забегая вперед, через несколько лет был «условно убит» во время учений того же спецназа в Дагестане — как мне объяснили люди понимающие, это означает долгую жизнь, что на протяжении следующих четырнадцати лет подтвердилось, и пока эта тенденция сохраняется, будем надеяться, надолго.)

Одно из самых ярких впечатлений связано с выборами президента 18 марта 2000-го. На один из избирательных участков в Ханкале люди в погонах прикрепили самодельную вывеску «Избирательный участок номер такой-то по выборам Президента Российской Федерации В. В. Путина». Вывеска провисела часа два, потом прибежал полковник и простым русским языком приказал ее снять. Напомнив, что по Ханкале невозбранно шляются демократические

журналиги, могут это народное творчество увидеть и запечатлеть, да пустить такую поганую волну, что никто не отмоется... В те почти былинные времена демократические журналы представляли собой нешуточную силу и всеобщее пугало, так что вывеску моментально сняли и истребили.

Ладно, не будем отвлекаться. О Центре спецназа я написал два романа: «Четвертый тост» и «Равнение на знамя». Уже не по чисто теоретическим знаниям, как было с циклом «Пирания»), а изрядной долей рассказов участников событий, об оружии, которое знал по личным впечатлениям. Некоторые герои имеют реальных прототипов, а парочка эпизодов взята прямиком из жизни — причем эпизодов юмористических, какие и на любой войне случаются...

За первый роман получил грамоту директора ФСБ, врученную в бывшем кабинете Лаврентия Павловича Берии на Лубянке (между прочим, довольно скромном). Поскольку мои отношения с госбезопасностью часто переплетены с откровенным юмором, без него и тут не обошлось. Там же, на Лубянке, состоялся небольшой банкет десятка на два участников — и меня форменным образом заколебал некто в штатском, уж никак не генерал, но по общей авантжности, вполне возможно, и полковник. Когда уже было выпито как следует, этот персонаж долго мне доказывал, что в моем романе есть весьма существенное упущение. По его глубочайшему убеждению, следовало непременно вставить сцену, где brave вымпеловцы, сидя вечером у костра, дружно поют под гитару романтические, а лучше патриотические песни. Вот так вот...

Мне в ту пору шел сорок шестой годочек, и от юношеской запальчивости я давно избавился. А по-

сему самокритично признал упущение и душевно поблагодарил за науку. Когда я рассказал эту историю спецназовцам, стекла задрезбужали от жизнерадостного ржания: вечерние посиделки у костра и в самом деле случались (помню, ага), но сводились они исключительно к травле военных баек, анекдотов с картинками и передаче из рук в руки бутылки с прозрачной жидкостью, не боржомом...

Еще одна хохма, связанная с тем же ведомством. Как-то зашел я на Большую Лубянку по делу, в Центр общественных связей. Естественно, не с поднятым воротником с черного хода, а в парадную дверь. И моментально обнаружил нечто непонятное: оба дежурных прапорщика вели себя несколько странно-вато — держались в глубине вестибюля, поглядывали настороженно, а один, завидев меня, с несомненным облегчением выдохнул:

— Фу, а мы-то думали, опять эта псишка...

В чем дело, выяснилось моментально — у парадной двери долго бродила Новодворская. Распахивала дверь, до половины просовывалась в вестибюль, выкрикивала что-то ужасно демократическое и скрывалась на улице, а через пару минут все повторялось. Вот прапорщики, когда я стал открывать дверь, и решили, что это опять Неистовая Валерия. Разминулись мы с ней на пару минут, а жаль. У меня давно были заготовлены для нее язвительные реплики, базировавшиеся на ее бессмертных строках «Секс — грязное дело. Я знаю. Я об этом читала».. Увы, судьба так никогда и не свела с Московской Девственницей, как в свое время сводила с Жириновским и Зюгановым (оба раза при откровенно юмористических обстоятельствах, но не буду отклоняться от главной темы).

Ну вот, а позже на пиджаке оказались два знака Центра — с напутствием не стесняться и надевать по определенным красным числам календаря. А позже прибавилась еще и медаль «90 лет ВЧК—КГБ—ФСБ». Учредило ее не государство и не Контора — чистой воды общественная организация ветеранов Конторы. С одной стороны, чуточку легковесно, с другой — вручал мне ее легендарный в узких кругах полковник, бывший пограничник, тот самый, что в свое время разработал блестящий план захвата Салмана Радужева. Столь же блестяще претворенный в жизнь спецназом: волкодавы незамеченными прошли к дому Салмана в набитой боевиками деревне, без малейшего шума утихомирили охрану и вовсе уж без малейшего труда повязали клиента — он пребывал в трансе после очередного укола. После чего опять-таки незамеченными ушли со своей ношей. Салманчик очухался только в машине, протянул руку и, не открывая глаз, потребовал: «Шприц!» На что ему ответили: «Салманчик, шприцы кончились». Тут он и открыл глаза, и понял, где он и с кем он... Неопишуемое выражение морды лица было, говорят...

А происходило вручение в кабинете начальника Центра. Так что есть некоторые основания относиться к этой медали серьезно.

Кстати, с ней связана очередная юмористическая история. 9 Мая, собираясь поехать посмотреть военный парад, я привинчивал и прицеплял к новому пиджаку имеющиеся регалии. Тут зашел в гости один старый знакомый и, узрев медаль, попросил «дать померить». Я и дал, жалко, что ли? И время не поджимало. Персонаж, прицепив медаль, долго любовался собою зеркало и расстался с ней с видимым сожалением.

В чем здесь юмор? Да в том, что лет двадцать назад не было среди завсегдатаев перестроечных майданов большего ненавистника КГБ, чем этот индивидуум. При любом удобном и неудобном случае драл глотку, доказывая, что КГБ следует немедленно распустить. Весь, до последнего человека, причем не только 5-е управление (внутренний политический сыск), но, чтобы два раза не ездить, и внешнюю разведку с контрразведкой. Было такое убеждение среди части «интеллигентов, а не человек»¹: вот-вот цивилизованный Запад, видя демократические перемены в России, сольется с ней в экстазе почище главных героев бессмертной оперы Бизе, Хозе и Кармен. Соответственно, демократический Запад никогда не будет шпионить против демократической России, а таковой не следует шпионить против демократического Запада. Ну что вы хотите, «интеллигент» — это диагноз...

Потом-то мой знакомый прозрел. Но не раньше чем в середине девяностых закрыли отдел в НИИ, где он долго коптил небо, а всех, кто там пригрелся, попросили на выход. Тех, кто постарше, досрочно отправили на пенсию, а тем, кто помоложе, посоветовали обрести себя на рынке — у рынка, дескать, есть невидимая рука, которая расставит все на свои места... (См. учебник для вузов Авруцкого и Недувы «Лечение психически больных».)

Теперь плавно и перейдем к следующей истории, как и все остальные, невымышленной.

¹ Ирония не моя. Незадачливая любовница Есенина Галина Бениславская, прежде чем застрелиться на его могиле, написала одному их общему знакомому письмо, где были такие строчки: «Интеллигент вы, а не человек, вот что».

КАК Я КЛЕВЕТАЛ НА НКВД

Людам, не заставшим перестройку в сознательном возрасте, а уж тем более родившимся после того, как она сошла на нет, невероятно трудно представить себе тогдашний разгул брехни и откровенной клиники, ливнем хлынувшей на головы и в умы широких масс, в большинстве своем свято верившим любому вымыслу. Интернета, хотя это и кажется нынешней молодежи невероятным, не было. От слова «совсем». Какие-то эмбрионы, зародыши уже существовали, но не было ничего отдаленно похожего на нынешний интернет с его немалыми возможностями анонимно нести любую дурь и сыпать оскорблениями, за которые в реале «диванные хомяки» были бы биты кулаками, а то и ногами.

Роль нынешнего интернета играла пресса, журналы и газеты. Торжествовала очередная придумка М. С. Горбачева, «гласность» — как все, что он запустил в народ, вскоре обернувшаяся печальной клоунадой, а то и неприкрытой шизофренией. Это был золотой век газетного дела, который никогда уже не вернется. Газеты выходили миллионными (так!) тиражами, у киосков «Союзпечати» теснились огромные очереди, в точности как нынче за последними моделями айфонов. Печатному слову свято верили не только интеллигенты, которым по жизни положено быть невежественными дурачками, но и те самые широкие массы. Были, конечно, и толковые публикации, срывавшие покровы с некоторых тайн советских времен, обнародовавшие то, что замалчивали долгими десятилетиями. Но поднялся и девятый вал самых дурацких выдумок, принимавшихся за правду. Причина проста: люди давненько уж разучились ло-

гически мыслить. Логическое мышление — вовсе не какое-то непостижимое простым человеком искусство, ему можно научить, как математике или езде на велосипеде. При Сталине, после Отечественной, логика появилась в школьных программах, и ей уделялось не так уж мало места и времени. Убрал ее оттуда Хрущев, возможно, по очередной дурости, на которые был мастер, а возможно, и из циничного политиканского расчета: человеку, обученному мыслить логически, ни за что не впарить тот бред, которым щедро накормили в перестроечные годы.

Вот и катилась лавина противоречащего элементарной логике бреда. Кто-то расчетливо врал, преследуя далеко идущие политические цели (ставшие ясными к осени 1991-го, когда противодействовать было поздно), кто-то цинично зарабатывал денежку откровенной брехней, немало было и откровенной клиники — субъекты, которым самое место в психушке, получали в полное распоряжение страницы газет с миллионными (так!) тиражами. Не кто иной, как кумир перестройщиков академик Сахаров как-то меланхолично признал: многие перестроечно-диссидентские горлопаны нуждаются в пристальном внимании психиатров (естественно, многие это не принимали на свой счет, искренне веря, что речь идет о других). После того как отшумел восхитительный по своему идиотизму майдан, именовавшийся «Все-союзный съезд депутатов Верховного Совета СССР», щедро транслировавшийся по телевидению, кто-то остроумный, оставшийся неизвестным, сочинил анекдот:

«Психиатр и кагэбэшник из «пятерки» пьют пиво, смотрят по телевизору очередную трансляцию помянутого майдана и периодически восклицают:

- Вот этот — мой!
- А вот этот — мой!»

Анекдот родился не на пустом месте, а на самой доподлинной реальности. История имеет свойство повторяться. В феврале 1917 года после отречения последнего российского императора немаленькая толпа «возмущенного народа» подступила к петроградской штаб-квартире Охранного отделения, разгромила его и старательно сожгла архивы, в первую очередь картотеку секретных сотрудников, то бишь платных стукачей. Необходимо уточнить: небольшое здание на Фонтанке, 16 никогда не имело вывески, и городской у входа не торчал, и сотрудники Охранного ходили на работу исключительно в штатском, так что подавляющее большинство питерцев и понятия не имели, что за контора помещается в неприглядном домике. Так что нетрудно догадаться, что это был за «возмущенный народ».

К слову, в Красноярске в те же времена случился вовсе уж трагикомический анекдот. Жандармское управление Енисейской губернии (как именовался Красноярский край до революции) было по российским меркам небольшим. Соответственно, и «барабанов» у него имелось несравнимо меньше, чем в Москве или Питере. А потому и не составилось толпы «возмущенного народа». Архив в целостности и сохранности попал в руки февральских победителей, социалистов всех мастей (социалистических партий тогда было больше, чем блох на барбоске). Они в темпе создали комиссию по выявлению «провокаторов» (как тогда не вполне правильно социалисты именовали платных осведомителей). И быстро выяснилось, что один из членов комиссии как раз и есть агент жандармерии с приличным стажем...

Так что нет ничего удивительного в том, что после бесславного крушения ГКЧП к главному зданию КГБ на Большой Лубянке собралась немаленькая буйная толпа, которую некие активисты умело науськивали на штурм здания и... правильно, уничтожение архивов. Дело могло кончиться немалой кровью: сотрудники КГБ встали у окон с табельным оружием, готовые в случае прорыва в здание стрелять на поражение. Однако полупьяную толпу кто-то конкретный грамотно переключил на иную цель — памятник Дзержинскому. Как из-под земли появился автокран (мимо проезжал, ага) — и монумент свалили с пьедестала. Удовлетворенная этим эффектным зрелищем толпа разошлась догоняться, больше не пытаясь ворваться в здание, так что архивы остались в целости. Прямых свидетельств, конечно, не дожидаться, но лично я не сомневаюсь, кто блестяще провернул эту, без сомнения, импровизацию.

Мы так никогда и не узнаем, кто именно под рабочим псевдонимом старательно стучал в Контору, а потом числился среди знатных перестройщиков. Ни одна спецслужба таких архивов не рассекречивает (если только они вообще еще целы). Именно так обстояло и в нашем Отечестве и во всех без исключения бывших социалистических странах. Пользуясь цитатой из моего же давнего романа — «К чему допускать несерьезных людей к серьезным бумагам?».

К слову сказать, лично я с давних пор уверен, что засекречивание архивов «пятерки» пошло только на пользу. Самому мне опасаться было нечего — нет, не был, не состоял. Тут другое...

Был недолгий момент во времена угара перестройки, когда всякий, кому пожелается, мог прийти в КГБ и потребовать, чтобы ему дали ознакомиться

с его досье. И приходили. И знакомились. Вот и я по жгучему любопытству заявился в «серый дом». Точно знал неисповедимыми путями, что досье на меня имелось. Правда, тощенькое — с диссидентами я не водился ввиду отсутствия таковых в Сибири, но литературу из разряда запрещенной почитывал вовсю (главным образом беллетристику вроде «Собачьего сердца», «Роковых яиц» и «Гадких лебедей», а лубочными антисоветскими поделками вроде «Архипелага» брезговал как тогда, так и потом). Вольнодумствовал на интеллигентских кухнях, написал «хулиганскую трилогию», повести «Континент», «Волчье солнышко» и «Господа альбатросы» (1981) — особой антисоветчины там не имелось, но написано было с недопустимой при советской цензуре вольностью, так что свет эта трилогия увидела только через десять лет, когда советские партийные боссы отменили советскую власть...

Ну вот, пришел я. И кагэбэшник с седыми висками (типаж был, прямо-таки сошедший с экрана), человек очень умный, сказал примерно следующее:

«Крепенько подумай сам, Саша, — сказал он, — оно тебе надо? Досье на тебя мы тебе, согласно последним установкам, дадим, чтобы прочитал, не вынося из здания. Вот только... Только ведь там не один, мягко скажем, отчет об иных твоих разговорчиках и высказываниях. Ту же «хулиганскую трилогию» ты под замком не держал, давал читать добрым знакомым, таким же вольнодумцам, так что и к нам она попала («с большим удовольствием прочитали, — усмехнулся он, — хорошо написано, с юмором»). Так вот, подумай: приятно ли тебе будет узнать, что кое-кто из твоих давних собеседников-собутельников потом писал отчеты? И фотографи-

ровал машинопись «трилогии» с тем, чтобы потом представить куда следует — с соответствующими комментариями? Конечно, такие вещи подписывали не честным именем, рабочими псевдонимами, но иные ты быстренько вычислишь по датам и подробностям. Оно тебе надо? В самом деле?»

Я серьезно раскинул мозгами и мысленно признал, что волчара политического сыска (который, как я уже писал, мне не сделал ничего плохого), был кругом прав. Нет ничего приятного в таком вот знании. А потому я распрощался и ушел — в пивную...

Ну а что касается клиники... В свое время, когда хлынула мутная волна разоблачений Сталина (на Ленина еще не покушались, вторая серия будет позже), ведущие перестроечные газеты на полном серьезе ошарашили читателя очередным откровением: уса-тый тиран в свое время распорядился закопать где-то в глуши слиток чистейшей меди длиной в четыреста километров. Нужно только его отыскать, продать на Запад, и будет всем счастье.

Повторяю, это писалось абсолютно серьезно: слиток меди в четыреста километров длиной, захованный злодеем Сталиным. Автор отлично известен: заграничный «профессор-советолог» Александр Янов, в свое время высланный из СССР то ли за диссидентство, то ли за педофилию, то ли за все вместе и кропавший в эмиграции якобы антикоммунистические и антисоветские, а на деле русофобские книжонки, сначала ходившие в «самиздате», а потом напечатанные и в демократической России. (К прочтению не рекомендую — дрянь редкостная.) Перестроечная интеллигенция приняла бред об исполинском медном слитке за святую истину (профессор сам сказал), какое-то время о нем шумели, всерьез

предлагали искать и выкопать, но потом дело как-то заглохло — видимо, минуло осеннее обострение...

(Вообще, диссиденты и педофилия — отдельная интересная тема. Не так давно в Англии разгорелся крупный скандалчик. Нагрянувшие в дом обитавшего там видного диссидента Владимира Буковского агенты Скотленд-Ярда обнаружили в его компьютере прямо-таки залежи детской порнографии, за что вообще-то в Англии полагается тюрьма. Буковский кричал, что он здесь совершенно ни при чем, что это ему напихала в компьютер злобная ФСБ, не в силах ему простить бывшее диссидентство и, несомненно, действовавшая по личному приказу тирана Путина. Агенты верили плохо...

Пожалуй, в любой другой, даже раздемократической европейской стране Буковский прямым ходом отправился бы на нары, однако Англия, как известно, страна традиций. Среди традиций есть и такая: нежно и бережно относиться к любой сволочи, активно действующей против России, как бы Россия ни называлась — от Герцена до Березовского, от Суворова до Литвиненко. Так что уголовный суд Олд-Бейли не стали тревожить, но из Англии Буковскому пришлось потихонечку убраться...)

Одним словом, над союзом нерушимым республик свободных (была такая оптимистическая строчка в советском гимне) бушевала газетная шизофрения, иногда веселая, иногда печальная. И настало время, когда я усмотрел отличную возможность для великолепного розыгрыша на широкую ногу...

В первую очередь мишенью должны были стать уфологи. Есть такое психическое расстройство — уфология. По заверениям им страдающих — ни больше ни меньше наука, изучающая визиты на

Землю инопланетян, эскадрильями и флотилиями порхающих над нашей веселой планетой на суперзвездолетах, которые простоты ради именуют всем скопом «летающими тарелками». Здравый смысл отсутствует напрочь, равно как и критический подход. Любая шитая белыми нитками придумка принимается на веру, без малейших попыток проверить ее автора на психическое здоровье или изучить его взаимоотношения с алкоголем.

Эпохальный, можно сказать, классический пример — история Джорджа Адамски. Жил в 50-х годах прошлого века такой американец польского происхождения, занимавшийся каким-то мелким бизнесом — то ли подержанными автомобилями торговал, то ли бакалейную лавочку держал. Дела у него шли из рук вон плохо — всей прибыли одни убытки. И тут Джорджу от голода и безнадёжности пришла в голову великолепная, без дураков, идея...

В США как раз разгорался нешуточный бум вокруг этих самых «летающих тарелочек», вольготно летающих над американскими штатами с невероятной скоростью и невиданной маневренностью. Робкие голоса скептиков, твердивших, что некоторые случаи можно объяснить наблюдением планеты Венера или метеозондами, пропускали мимо ушей. Накал страстей был такой, что забеспокоились даже американские спецслужбы и стали всерьез выяснять, не есть ли это новое секретное оружие зловредных русских коммунистов. Не обнаружив ничего подобного, рыцари плаща и кинжала плюнули и махнули рукой — в конце концов, приличному американскому налогоплательщику не возбраняется верить в любой бред, если это не представляет опасности для окружающих или угрозы государственным интересам.

(По другую сторону океана имело место что-то похожее. Тогда еще с подачи замечательного фантаста Александра Казанцева имела большое распространение гипотеза, что Тунгусский метеорит — потерпевший над сибирской тайгой крушение инопланетный звездолет (между прочим, обнародованная в 1949 году, в самые, казалось бы, «мрачные времена сталинской тирании»). Вот Сергей Королев, тогда уже, в 50-е, Главный конструктор, и отправил в тайгу экспедицию серьезных инженеров с заданием поискать обломки звездолета. Это был трезвый расчет технаря: а вдруг гипотеза верна и удастся обнаружить что-то, позволившее бы двинуть вперед космонавтику? Экспедиция (в которой участвовал и будущий космонавт Григорий Гречко) никаких инопланетных обломков не нашла, и прагматик Королев навсегда позабыл о Подкаменной Тунгуске.)

Вот эту тучную ниву и взялся окучивать Джордж Адамски. Сначала заработал некоторую денежку, рассказав журналистам о своих встречах с инопланетянами. Потом стал разъезжать по Америке с лекциями (разумеется, платными), живописуя эти встречи еще красочнее. И выпустил несколько книг, где рассказывал, как добрые инопланетяне катали его на летающей тарелке, возили на Марс, Венеру, Юпитер с Сатурном (далеких планет вроде Урана, Нептуна и Плутона летающая тарелочка не посещала — далеко, холодно, скучно. Зато на всех планетах, которые Адамски посетил, обитали жители самого экзотического облика...

В те времена еще не состоялись рейсы советских и американских автоматических межпланетных станций, внесших полную ясность и никаких Аэлит не обнаруживших, равно как и разумных осьминогов.

Даже вполне серьезные ученые допускали, что Марс, Венера, а то и Юпитер обитаемы — чего же ждать от простого обывателя? Так что миллионером Адамски не стал, но на книгах и лекциях состоянице сколотил приличное.

А там и оброс последователями. Американцы обожают сплачиваться в добровольные общества любителей всего на свете — от огнестрельного оружия до аквариумных рыбок. О чем бы ни шла речь, о тропических черепахах, зеленоглазых блондинках или шиншилловых кроликах, можно сказать с уверенностью: для всего сыщется всеамериканское общество любителей с отделениями во всех штатах, регулярными конгрессами и своими печатными органами (а теперь еще и сайтами). Так что очень скоро встало «Общество Джорджа Адамски», многолюдное и энергичное.

Но вот потом... Адамски тяжело заболел, слег, и врачи не скрывали, что конец близок. Адамски, как многие поляки (у него были польские корни), был верующим католиком и не хотел уходить на тот свет нераскаявшимся грешником. Позвал ксендза и подробнейшим образом исповедовался, признавшись, что все эти годы ради денег морочил людям голову беззастенчивыми выдумками. Держать это в тайне он не собирался, наоборот, попросил, чтобы ксендз опубликовал его исповедь в газетах — в рамках чистосердечного покаяния.

Ксендз последнюю волю умирающего исполнил. Однако глубоко ошибется тот, кто решит, будто потрясенное этими новостями «Общество Джорджа Адамски» самоликвидировалось. Тех, кто из него вышел, согласно более поздней песенке Александра Галича, «оказался наш отец не отцом, а сукою», мож-

но было по пальцам пересчитать. Остальные лишь теснее сомкнули ряды, громогласно заявляя, что налицо «злые происки врагов». Что зловерные цэрэушники по каким-то своим причинам скрывают от американского народа правду об инопланетянах, уверяя, будто их не существует вовсе, — а сами в своих тайных лабораториях хранят обломки тарелок и тела инопланетян. И вообще, лунная программа «Аполлон» сработана с помощью пришельцев, а маленькие зелененькие инопланетяне давно уже обсуждают за бутылочкой самые разные дела с президентами США и директорами ЦРУ. Только президент Кеннеди попытался эти секреты обнародовать, за что пришельцы его и убрали, свалив все на неповинного бичика Освальда. Так что «Исповедь Адамски» — фальшивка ЦРУ, а «ксендз» — штатный агент Титкинс. Примерно так. Самое занятное, по ту сторону океана среди советских уфологов кружили такие же слухи — разве что вместо ЦРУ потаенно злодействовали КГБ и карательные психиатры, с нехорошим интересом присматривавшиеся к некоторым особорьяным уфологам. Шизофрения государственных границ не признает...

(Еще занятнее, что во времена перестройки, когда запретных тем для средств массовой информации не осталось, некоторые западные уфологи выступали за то, чтобы не допускать на свои сходняки советских братьев по разуму — говорили, что те предаются чересчур уж безудержному полету фантазии, некритически подходят к любым байкам, чем опошляют святые устои истинной, научной уфологии...)

Вот над этими фанатами НЛО я и решил, как теперь говорят, приколоться. Тогда еще в Красноярске процветала интересная газета с коротким на-

званием, крайне примечательное заведение. Газета была молодая, насквозь рыночная, но так уж причудливо сплелось, что там в трогательном единении скрипели перьями молодые мальчики и девочки рыночного поколения и кучка подувядших перестройщиков-интеллигентов (включая главную редакторшу). А потому каждый номер газеты являл собой несколько сюрреалистическое зрелище: на первых трех страницах — откровения Валерии Новодворской (вызывавшие нецензурные комментарии красноярских психиатров) и несколько опусов в духе благополучно скончавшейся к тому времени и похороненной без цветов и оркестров перестройки, еще страницах на двадцати — бульварные сенсации вроде: «Певица Митрофан появилась без трусиков под платьем!» и «Гигантский кузнечик изнасиловал бабушку в штате Айова!» И наконец, еще на полусотне страниц всевозможные платные объявления о продаже всего на свете, в том числе и эскорт-услуг. Как-то это все у них уживалось — опусы Новодворской и реклама типа «Катенька и Машенька скрасят досуг состоятельному господину»... Плюрализм в отдельно взятой голове, ага.

Ах, какая это была звонкая сенсация на всю газетную полосу, трудолюбиво сочиненная мною за пару часов! Оформлена она была как анонимный перевод с испанского (название газеты приводилось). Летом сорок шестого года в «одной латиноамериканской стране» (название страны благоразумно не указывалось) кап-рал из дислоцированного в местной деревушке полка на берегу чахлой речушки случайно наткнулся на разбитую капсулу с тремя скелетами в непонятных мундирах внутри. Местное светило науки в лице учителя географии из близлежащего городка быстро определило,

что это мундиры люфтваффе, а надписи на приборах исполнены на чистейшем немецком языке. И заявило: по его сугубому мнению, это аппарат, запущенный в последние месяцы существования Третьего рейха гениальным нацистским ракетным конструктором Вернером фон Брауном и именовавшееся, как можно судить по надписи над пультом, «Фау-3». Потом нацистам в силу известных событий стало не до космоса, и капсула с тремя космонавтами больше года кружила на орбите, откуда со временем и навернулась, согласно законам небесной механики. Бедолаги из люфтваффе задолго до того погибли от нехватки кислорода, оставив патетическую предсмертную записку «Космос будет немецким! Умираем за Тысячелетний рейх и арийскую науку! Хайль Гитлер!»

О находке сообщили в столицу, откуда очень быстро прилетели вездесущие американцы и увезли все в Штаты, где всякие следы, конечно же, затерялись на секретных базах ЦРУ. Размахивая крупнокалиберными кольтами и большими сверкающими ножами (и раздавая попутно серебряные доллары), они запугали и подкупили всех свидетелей, грозя за разглашение тайны смертью лютой и неминуемой. Только сорок с лишним лет спустя внук учителя, будучи уже в преклонных годах, решился рассказать все случайному журналисту. И в качестве неопровержимого доказательства предъявил пуговицу от мундира люфтваффе, срезанную им с одного из мундиров и все эти годы хранившуюся в тайнике. Поскольку журналист убедился, что пуговица подлинная, в правдивости истории он не сомневался — ну откуда, скажите на милость, могла взяться в Латинской Америке пуговица с мундира люфтваффе, как не из капсулы секретных космонавтов Третьего рейха?

Вы правильно догадались. Эта история была принята за чистую монету немалым количеством людей, в том числе с высшим образованием — ну я знал доктора наук, всерьез ждавшего в свое время, что ему вот-вот выдадут за ваучер две «Волги». Одну он продаст за хорошие деньги, а на другой будет катать аспиранток и лаборанток. Не дождался, бедняга, и в конце концов продал ваучер за цену двух бутылок водки (а лаборантки и аспирантки из тех, что посмазливее, переметнулись к более денежным кавалерам на взаправдашных, а не на виртуальных машинках)...

Среди поверивших оказался и поминавшийся уже здесь красноярский фантаст Олег К., человек вовсе не глупый и не считавший себя интеллигентом — да вот беда, питавший пылкую любовь к НЛО (что среди фантастов, в общем, большая редкость, поскольку фантасты как раз и зарабатывают на жизнь часто рассказами о Необычайном и Невероятном, но, как профессионалы, крайне скептически относятся ко всевозможным «чудесам и приключениям», когда их пытаются объявить доподлинной реальностью. А потому бывали крайне разочарованы всевозможные уфологи, экстрасенсы и конспирологи. Одно время они прямо-таки валом валили к фантастам за поддержкой, полагая, что уж в их-то лице встретят благодарных слушателей, готовых некритически слопать любые побасенки. Увы, дело обстояло как раз наоборот)...

Так вот, в Латинской Америке, как должно быть известно даже жертвам ЕГЭ, говорят по-испански (исключая Бразилию с ее португальским), все имена и географические названия, соответственно, испанские. А потому я колорита ради с помощью капитального русско-испанского словаря придумал имена

и названия. Но какие! Выглядело это так: «В провинции Вшивая Дырка возле деревушки Приют Педрил на берегу речушки Ослиная Моча капрал Шлюхин Сын из полка «Законченные психи» однажды обнаружил... Местный учитель географии Старый Алкоголик из городка Веселый Бордель...» Ну а знающие английский оценят по достоинству имечко зловещего главаря цэрэушников, укравших сенсационную находку: Джон Буллит.

(Если кому интересно, как «шлюхин сын» звучит по-испански, извольте: «ихо де пута». Ага, вот именно. Давно и прочно вошедшее в русский язык слово «путана», каким благородно называют тружениц неблагородной профессии, — испанского происхождения.)

Юмор в том, что, в отличие от меня, Олег К. владел испанским не хуже, чем русским, не обратил внимания на откровенно юмористические имена и названия, принял все за чистую монету. Ну, в конце концов, жертвой первой в мировой истории финансовой пирамиды, Компании Южных Морей, стал и великий ученый Исаак Ньютон, чей высокий интеллект не пересилил тягу к халяве, присущую всем народам без исключения...

(Отступление о переводах для любителей фантастики. Пора и выдать кое-какие тайны минувших лет, эпохи первых лет становления еще не в России, а в СССР частного книгоиздательства (коему автор этих строк отдал пятнадцать лет жизни (1988—2003), волею судьбы угодив в число отцов-основателей, чем немного гордится.) В конце 80-х годов прошлого столетия первые рассказы Роберта Говарда, равно как и первый на русском языке роман из цикла о Конане, появились на свет в переводе не с английского,

а с польского — трудами Александра Бушкова и Михаила Успенского. Интернета тогда не было, искать английские издания, а потом и переводчиков, было чересчур напряжно, а поляки к тому времени издали немало Говарда, а польский оба знали неплохо.

Вопреки мнению иных эстетов, в этом не было ничего мошеннического и уж тем более уголовно наказуемого. Явление это известно за рубежом с давних времен и именуется «перевод-посредник». В дореволюционной России очень долго сказки Ганса Христиана Андерсена издавались в переводах не с датского, а как раз с немецкого. Жизнь заставила: не было в России переводчиков с датского, а вот у немцев, соседей датчан, имелись во множестве. Вообще, в моей библиотеке детективов на польском есть и греческий, причем честно указано, что перевод сделан не с греческого, а с английского издания. Ну не нашлось в Польской Народной Республике знатоков греческого, а вот владевшие английским имелись во множестве...)

К чему это я? Бушков и Успенский не делали тайны из своего ноу-хау (разве что скромно писали просто «перевод», не уточняя, с какого именно языка), потому вскоре их почин подхватили другие переводчики и частные издательства. Однако в свое время некое большое издательство выпустило многотомное собрание сочинений Роберта Говарда, торжественно объявив, что, в отличие от «некоторых прохиндеев», оно издает Говарда в переводах с чистейшего английского (точнее, с американского диалекта английского). Возможно, это и правда в отношении некоторых романов, но далеко не всех. Потому что в иных я обнаружил неосмотрительно оставленные без перевода слова, которые присутствуют исключительно в польском, и ни в каком другом языке...

Вернемся к статье о нацистских астронавтах. Когда я примерно через месяц сознался Олегу К. в мистификации, он, справившись с ошеломлением, заявил, что сразу-де «подметил некие странности» в тех самых именах и названиях. Признаться, я этому до сих пор не верю — стыдно было признать испановеду, что, поддавшись своему давнему увлечению, купился на розыгрыш...

Уж если купился знаток испанского, что было ожидать от тех, кто испанского не знал? Статья эта одно время имела большой успех у уфологов и перешла из рук в руки... На гонорар я купил жене хорошую косметику, а остальное беззастенчиво пропил...

Через какое-то время я вновь принялся за доверчивых уфологов. Стыдно было чуточку обманывать доверчивых, как дети, взрослых людей, но кто ж им виноват, если они некритически принимают на веру любой вздор?

На сей раз речь шла не о газетной статье, и розыгрыш номер два принес лишь чисто моральное удовлетворение. Ко мне в руки попала анкета, которую по всему Советскому Союзу распространяло уфологическое общество одной из прибалтийских республик, тогда еще стенавших под советским игом — злобные русские захватчики коварно строили там заводы и порты, устраивали киностудии и разрешали даже в ресторане «Юрас перлас» еще в 70-е годы заправдашний стриптиз (которая именно республика, я уже не помню — всегда путал эти три могучих державы).

Нужно признать, оформлена была анкета серьезно: прекрасно отпечатанный типографским способом двойной лист почти с сотней вопросов. Встретившийся с инопланетянами человек должен был

подробно описать внешний вид летающей тарелки и облик самих пришельцев — вплоть до цвета глаз и формы ушей. Вопросы о размерах и количестве половых органов не было — известно же, что цивилизованные пришельцы показываются землянам одетыми с иголки и голыми гениталиями не трясут.

Культурные прибалты не требовали от отвечающих ни справок из психдиспансера, ни вопросов об отношении к алкоголю и меркам потребления такового. А потому я вдохновился и, пару часов тщательно обдумав все детали, заполнил анкету от лица прапорщика, служившего на ракетной точке во глубинах сибирской тайги и однажды встретившего на лесной дороге трех инопланетян, описанных очень тщательно, и даже перекинувшегося с ними парой слов о погоде. Я тщательно продумал орфографические ошибки и убогий лексикон советского милиционера, не отягощенного особенным интеллектом. Разумеется, прибалты были первыми, кому прапорщик (оставшийся анонимным) поведал эту романтическую историю — разумеется, когда он попытался рассказать ее сослуживцам, злобные особисты, сунув под нос автомат, потребовали заткнуться, иначе за антинаучные сплетни угонят в каторгу...

Отправил по прилагавшемуся адресу и забыл. А месяца через два столичные знакомые, гогоча, показали издававшийся этим обществом ежемесячный бюллетень, где рассказ прапорщика преподносился, кто бы сомневался, как достоверное свидетельство — и еще одно доказательство злокозненности советской военщины...

На этом я потерял интерес к летающим тарелочкам — дуриль уфологов было очень уж легко и просто. Можно вспомнить, как с момента появле-

ния первых сенсаций о летающих тарелках в США разразилось то, что один из видных американских астрономов назвал «национальной массовой истерией». Тогда-то и вынырнул оборотистый Джордж Адамски — и не он один окучивал сограждан. Да вдобавок к делу подключилась контора серьезная: разведка ВВС США. Тогда как раз на всю катушку раскручивалась «холодная война» с воплями о «кознях красных» в США и «кознях американских империалистов» в СССР. По накалу страстей, а порой и градусу шизофрении обе стороны друг друга стоили. И кто-то стал орать печатно, что летающие тарелки — секретные суперсамолеты русских. Вот разведка и решила самым тщательным образом изучить проблему: а вдруг? Правда, военные быстро поняли, что тянут пустышку, и забросили это дело. Кто-то неглупый задал резонный вопрос: неужели русские настолько глупы, что испытывают новейшую военную технику не на необозримых сибирских просторах, а над густонаселенными районами США, где потерпевший крушение секретный русский самолет враз попадет в руки Пентагона?

(По ту сторону океана имело место нечто аналогичное. Достоверный факт: в том же, 1947 году Сталин вызвал конструктора Королева, вручил ему ворох переводов статей из американских газет и попросил сделать заключение. Королев три дня сидел над бумагами, после чего заявил: по его глубокому убеждению, явление интересно, но ни малейшей угрозы безопасности СССР не представляет. Сталин сказал: несколько ученых, которых он опрашивал до Королева, высказали аналогичное мнение. На том дело и кончилось.)

Но не в США. Бабахнула оглушительная сенсация: возле городка Розуэлл в штате Нью-Мексико

грохнулась летающая тарелка с мертвыми инопланетянами (вариант — с живыми, которых грубые солдаты били прикладами по голове, отбирая разные загадочные приборы). Конечно же, нагрянувшие пентагоновцы (очень может быть, фамилия их командира была и Буллшит) все увезли, и теперь это добро хранится на секретной военной базе, где провели вскрытие тел пришельцев (вариант: пришельцы живехоньки-здоровехоньки банками лопают особенно им полюбившееся клубничное варенье. Требуют ли они жевательную резинку и пристают ли к медсестрам, к сожалению, не уточнялось).

История раскрутилась. В желтых газетах появилось письмо президента США Трумэна министру обороны о розуэлльском инциденте. А позже всплыла и кинопленка, запечатлевшая вскрытие пришельцев.

Правда, со временем было точно установлено, что «письмо Трумэна 1947 года» напечатано на машинке, которую впервые начали производить в 1963 году. А кинопленка куда-то загадочным образом исчезла лет тридцать назад (безусловно, постарались агенты Малдер и Скалли). Однако тот, кто ее продал журналистам, получил двести тысяч долларов (впервые прочитав об этом, я прямо-таки взвыл от черной зависти — по сравнению в такими деньжищами мой гонорар за статью об астронавтах Гитлера составил жуткие гроши).

Если вы думаете, что на этом история кончилась, так больше так не думайте. Жители Розуэлла оказались не менее оборотистыми, чем Адамски, и обеспечили себе стабильный и регулярный доход со стрижек лохов. До сих пор там ежегодно проводится парад, на котором уфологи со всех концов США вышагивают в костюмах инопланетян, часто проходят разно-

образные фестивали и слеты «уфолонутых», работает «музей инцидента» с платой за вход, грузовиками продают сувениры. Одним словом, розуэллыцы имеют все основания повторять: «Жизнь удалась!» Вот только, в отличие от совестливого Адамски, они ни в чем каяться не собираются...

Давным-давно родилась и крайне популярная у уфрологов всего мира версия: американские президенты начиная с Эйзенхауэра потаенно наладили научно-техническое сотрудничество с пришельцами. Именно благодаря инопланетным технологиям успешно был завершен лунный проект «Аполлон». Доказательства? Вы что, дети малые? Вам же американским языком объясняют: все засекречено зловещим ЦРУ на веки вечные, какого же вам еще рожна?

Именно эту версию я творчески развил в одном из романов, вышедшем двадцать лет назад: Джона Кеннеди убрали пришельцы за то, что он хотел использовать их технологии в первую очередь для обогащения своего клана. Правда, роман с самого начала позиционировался как фантастический, так что уфологи на сей раз не воодушевились...

Не всегда упражнения на тему НЛО были вызваны к жизни психиатрическими проблемами или желанием срубить легкую деньгу. Несколько лет назад американскую публику ошарашили очередным откровением: оказывается, успех российских ракетных ударов по экстремистам в Сирии обязан тому, что в электронной начинке ракет использованы полученные от пришельцев технологии. Впервые об этом заявил громогласно не газетной шелкопер, а видный американский социолог. А для комплекта пишут, что Владимира Путина регулярно консультируют инопланетяне — потому тирану все и удастся...

Но хватит об НЛО, а то еще ночью приснятся... В свое время мы с Мишей Успенским, когда летающие тарелки наскучили, обратили пытливые взоры на шизофрению другого рода — «критику Сталина». В те почти былинные времена на полном серьезе публиковалось такое, что поневоле брало сожаление о временах советской карательной психиатрии — не все из ее опыта надо было отбрасывать...

Впрочем, многое было продиктовано откровенным невежеством интеллигентов-перестройщиков. Однажды изрядно потоптались на «вопиющем бескультурье кремлевского горца», припомнив, как он однажды написал на рукописи поэмы Горького «Девушка и Смерть»: «Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гёте». Поэма и в самом деле корявенькая (правда, ходила в списках среди советских школьников благодаря эротической направленности: «...грудь обнажена бесстыдно...») Однако соль в том, что Сталин ничего не придумывал сам — он процитировал фразу из статьи Виссариона Белинского о поэме Пушкина «Маленькие трагедии», о той ее сцене, где действуют Фауст и Мефистофель. Сталин это знал, и Горький это знал, так что оценил шутку по достоинству — но этого не знала Валерия Новодворская, закончившая элитный вуз под названием «Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской»...

В рамках «критики Сталина» Миша, сохраняя на лице полнейшую серьезность, однажды запустил в интеллигентские массы сенсационное разоблачение: отец Сталина — не запойный сапожник Бесо Джугашвили, а наш знаменитый путешественник Николай Михайлович Пржевальский! Доказательство имелось одно-единственное: вы только посмо-

трите на их портреты, они ж похожи как две капли воды!

Разумеется, для человека думающего это никакое не доказательство. Портретное сходство — вещь интересная. Каждый, порывшись в интернете, может убедиться, что Владимир Путин и Юлий Цезарь чертовски похожи, равно как Путин и персонаж одной картины эпохи Возрождения, а также и англиканский священник XVIII столетия. Что никоим образом не означает, будто у Путина есть древнеримские или английские корни. Совсем недавно, собирая источники для очередной книги о разбойной английской истории, я наткнулся на фотографию Рудольфа Гесса — и был не на шутку поражен его несомненным сходством с Юрием Подолякой (ну или Подоляки с ним). Заснял фотографию Гесса на планшет (конечно, прикрыв мундир листком бумаги) и показал нескольким знакомым, вопрошая: кто это? Четверо, едва бросив взгляд, уверенно ответили: «Как это кто? Подоляка, конечно!» Осечка вышла только с пятым, он растерянно пожал плечами и сказал, что не знает, но видеороликов Подоляки он не видел вообще и не знал в лицо Гесса...

Одна из сюжетных линий лучшего, на мой взгляд, приключенческого романа Луи Буссенара «Похитители бриллиантов» — как раз поразительное сходство главного отрицательного и главного положительного героев, не состоящих и в отдаленнейшем родстве: английского авантюриста Сэма Смита и благородного французского путешественника Александра Шони. Отсюда проистекают разнообразные коллизии, отнюдь не юмористические: Александра едва не повесили разоренные золотоискатели, которых Сэм недавно ограбил, а негритянский вождь принимает

Смита за своего друга Александра и выдает ему заветную тайну: место, где спрятан алмазный клад, сокровища кафрских королей...

Месяца через два, когда сидели за пивом, Миша Успенский вяло матерился: он хотел всего-навсего пошутить, но розыгрыш зажил самостоятельной жизнью уже без ссылок на творца. История эта выплеснулась на страницы демоперестроечной прессы и получила самое широкое распространение уже как святая истина, очередной ком грязи на могилу Сталина. Вроде бы даже, уверяли иные, месяцев за девять до рождения Сосо Джугашвили Пржевальский проездом был в Грузии. Если даже и так, крайне сомнительно, чтобы где-то могли пересечься блестящий офицер Генерального штаба и не знавшая ни словечка по-русски грузинская прачка из бедняцкого квартала Гори. Будь она служанкой в каком-нибудь богатом доме, который Пржевальский посещал, еще можно было бы строить «версии», но подобных эпизодов в биографии матери Сталина история не зафиксировала. Ну а попутно родился еще один «железный аргумент»: при Сталине Пржевальского частенько и уважительно поминали в советской прессе, даже городок Каракол был переименован в Пржевальск. С чего бы такое почтение, товарищи?! Неспроста! Правда, в те же времена еще более уважительно поминали не менее славного своими научными путешествиями Семенова-Тян-Шанского, но ни одна живая душа не зачисляла его на этом основании в отцы Сталина...

Вот и я решил действовать тем же путем. Разве что объект выбрал другой — Лаврентия Павловича Берию. Тогда как раз гуляли о нем ужастики, живописно повествовавшие, как маршал часами колесил

по Москве в зловещем черном лимузине, высматривая красивых девочек, особенное предпочтение отдавая созревшим старшеклассницам. Ну а потом его подручные, два зверообразных полковника, Саркисов и Надорая, хватали жертву и волокли в гнездо разврата. Адрес этого гнезда указывался точно — особняк Берии в Москве. Уже потом, когда схлынул угар перестройки, перекрасившийся в демократы военный политработник Сульянов эти ужастики творчески обогатил — по его авторитетному заявлению, Берия начинал с того, что прикусывал очередной пленнице непременно левую грудь. Откуда Сульянов, отроду не сидевший в шкафу в спальне Берии, этикие подробности знал, он благоразумно не сообщал. Но некоторые верили и так.

Ну что сказать? Особняк Берии в качестве гнезда разврата выбран откровенно неудачно. Дело в том, что в доме, помимо Берии, постоянно обитали его жена, сын с женой и дочкой, телохранители и работники узла спецсвязи. Совершенно не верится, что мимо всего этого многолюдства (и при наличии особенно ревливой, как все грузинки, супруги) два зверя-полковника каждый вечер таскали в спальню Берии мешок, откуда торчали брыкающиеся ножки очередной визжащей пленницы. Да и домик довольно маленький, что легко проверить — не помню улицы и номера, но там сейчас посольство Туниса.

Одним словом, я в два счета сочинил великолепную байку, объяснявшую причины холодной войны, вспыхнувшей в 1946 году между СССР и Западом. Основанную исключительно на хорошем знании, сколь глупа и невежественна перестроечная интеллигенция. Ах, какая была сенсация! Весной 1946 года сексуальный маньяк Берия попытался изнасиловать

прямо на столе своего лубянского кабинета приехавшую на Московский международный кинофестиваль кинозвезду Мэрилин Монро. Мэрилин, однако, отбилась, пешком, потеряв туфельки, добралась до американского посольства, а вернувшись домой, пожаловалась своему любовнику президенту Эйзенхауэру. Ну тот и осерчал — и объявил Сталину холодную войну. Короче, шерше ля фам.

Я бы привычной дорожкой отнес эту сенсацию в газеты, но уже не имел такой возможности — угодил в черный список победившей демократии. За пару-тройку статей стал персоной нон грата красноярской журналистики, каковую было велено гнать метлой с порога. И продолжалось это года три. А та самая бульварно-перестроечная газета, где я выдал сенсацию об астронавтах Третьего рейха, вдобавок взялась со мной бороться крайне оригинальным способом. Один из шелкоперов сочинил длиннущее безграмотное письмо запойного пэтэушника из райцентра, крайне неумело и коряво хвалившего мои книги. А потом бабахнул статью на целую газетную полосу, где язвительно разбирал это письмо по строчкам, патетически восклицая: «Люди добрые, посмотрите, кто Бушкова читает! Одна тупая гопота!» Главный юмор в том, что этот хрюндель сам стал эту историю рассказывать всем и каждому, приговаривая: «Вот как я Бушкова приложил!» Тут уж даже те, кто меня крепенько недолюбливал, брезгливо поморщились и сказали: «Дурик, ты не Бушкова приложил, ты себя приложил...»

(Забегая вперед, лет через пять я, человек, признаться, злопамятный, все же отомстил. К тому времени общество немного выздоровело, перестройку называли так, как она того заслуживала, и ни один из

кавалеров медали «Защитнику свободной России» не рисковал появляться с этой регалией на людях, опасаясь вызвать насмешки, а то и получить по морде. Она бульварная газета перестала существовать, не выдержав конкуренции с более молодыми и зубастыми сестричками, уже не снабжавшими свои желтые сенсации довесками вроде откровений Новодворской. Так вот, бывшая главная редакторша этой газеты, в свое время приказавшая на порог меня не пускать, непринужденно подошла ко мне в книжном магазине и, лучезарно улыбаясь, молвила:

— Здравствуйте, вы меня не узнаете?

Интеллигент всегда прощает окружающим все подлости, которые им сделал... Я, ничуть не растерявшись, рявкнул на весь магазин:

— Как-кой минет за сто баксов?! В зеркало на себя посмотри, кочерга старая! Тебе красная цена — стакан бормотухи у бичей!

Все, кто был в магазине, с любопытством уставились на экс-редакторшу, а та буквально оцепенела и потеряла дар речи: разевает рыбка рот, да не слышно, что поет... Я дружески ей улыбнулся, расплатился с кассиршей и понес книги в машину. Иногда мои шутки бывают и злыми — но исключительно в адрес тех, кто это заслужил.)

Что же, я эту жуткую историю о покусившемся на святое лубянском развратнике забросил в массы, уже не прибегая к газетам. Как и рассчитывал, интеллигенты скушали с восторгом. И понесли дальше. Тогда еще не были написаны иронические строчки Игоря Губермана: «Но идея, брошенная в массы, — это девушка, брошенная в полк», но в полном с ними соответствии самые дурацкие выдумки начинали жить самостоятельной жизнью. Правда, иллюзий я не строил

и не надеялся на долгую жизнь розыгрыша: очень уж белыми нитками было шито, до первого мало-мальски помнившего историю человека (такие, вы не поверите, и среди интеллигентов попадаются).

Так оно и произошло. Дней через десять вернулся из отпуска режиссер красноярской киностудии (лилипутской, но настоящей) и, выслушав эту историю, долго ржал с несомненным превосходством перед братьями по классу. А потом авторитетно объяснил: в сорок шестом году будущая кинозвезда еще не имела никакого отношения к Голливуду и красивого псевдонима еще не взяла. Под своим честным именем Норма Джин Бейкер успела лишь сняться обнаженной для мужского глянца и сделать первые шаги в рекламном бизнесе. До первых московских международных фестивалей оставалось много времени. Президентом США генерал Эйзенхауэр стал только в 1952 году и любовником Мэрилин никогда не был, в отличие от жизнерадостного бабника Джона Кеннеди, который Мэрилин и валял со всем усердием на пару с братцем Бобби. В СССР Мэрилин сроду не бывала. Наконец, Берия перестал быть наркомом НКВД еще в декабре 1945 года, целиком сосредоточившись на ракетно-ядерном комплексе...

Через недолгое время я пустил в те же массы другую жуткую историю, уже гораздо лучше проработанную на предмет неуязвимости. Ужасик про то, как в зловещем 1937 году где-то в муромских лесах энкавэдэшники сцапали экипаж потерпевшей крушение летающей тарелки, двух мужчин и женщину, совершенно неотличимых от землян на вид. И по зверству своему запытали их до смерти в своих кровавых подвалах, выбивая признание в работе на парагвайскую разведку. А инопланетянку, естественно, сначала

изнасильничали хором, в чем, по некоторым сведениям, живейшее участие принял и Берия.

Откуда дровишки? Я с загадочным видом сослался на некоего отставного старичка, который не хотел светиться. Как я уже говорил, слухи о моих связях с КГБ гуляли давненько, особенно оживившись в перестройку, и споры шли лишь о частностях: я просто стукач или замаскированный офицер? Так что поверили. Железным доказательством, как частенько с такими байками случается, служила ее полная непроверяемость. Вот эта легенда прожила значительно дольше, в основном среди уфологов. Года через четыре я ее услышал вдали от Красноярска, причем видоизмененную и обросшую новыми подробностями. То ли кто-то творчески развил розыгрыш, то ли сработала собственная фантазия уфологов, а она у них буйная. В расширенном варианте пришельцев все же не запытали до смерти, а отправили в одну из бериевских шарашек, где они и внесли главный вклад в становление советской космонавтики. А инопланетная красотка на долгие годы стала сексуальной игрушкой Берии, временами допускавшего к ней в виде поощрения главного конструктора Королева. Согласно этой же версии, свержение и убийство Берии — дело рук инопланетян, наконец-то прилетевших спасать земляков и вошедших в контакт с Хрущевым... Бывает. Руки чесались еще более раскудрявить эту шизофрению и отправить дальше, но у меня к тому времени была куча серьезных дел...

Вернемся к главной теме сего мемуара. Речь вновь пойдет о вещах непридуманных: о моей последней встрече с КГБ, на сей раз заочной и, в общем, в отличие от прежних, ничуть не смешной (хотя и безусловно не грустной) ...

КЛАССИК, Я И КГБ

Летом восемьдесят девятого года мы с младшим коллегой по перу (ныне одним из самых известных фантастов России) приехали по делам в Новосибирск и, чтобы не тратить деньги на гостиницу, непринужденно поселились на пару-тройку дней в помещении тамошнего Союза писателей — разумеется, с разрешения гостеприимных хозяев. Местечко было уютное — злобные коммунисты такие предоставляли за символическую плату писательским штаб-квартирам. Имелась там и комната отдыха с двумя удобными диванами, и маленькая кухонька, так что жилось комфортно и пилося по вечерам не из мелкой посуды, когда в компании хозяев, когда самостоятельно.

И как-то в один из вечеров ради скоротания скуки я сгреб телефон и набрал через межгород номер одного из классиков советской фантастики. Чтобы никто не догадался, о ком идет речь, назову его здесь Натан Аркадьевич. Ни за что читатель не догадается, о ком речь, правда?

Здесь нужно не сделать очередное отступление, а кое-что объяснить подробно, чтобы поняли не только молодые, но и мои ровесники — они наблюдали тогда со стороны всякие интересные события, но понятия не имели об их подоплеке...

В те почти былинные времена по всей стране царили раскол и размежевание, вызванное полярными взглядами на грохотавшую вокруг перестройку. Словно во времена Гражданской войны, когда брат шел на брата, детки на отца, и наоборот. Совершенно то же размежевание, только без винтовок и шашек. Становились непримиримыми врагами старые друзья, порой расходились мужья и жены, черт-те

сколько лет прожившие в благополучном браке. Ну а попутно шло массовое перекрашивание. Среди самых оголтелых перестройщиков вдруг оказывались то советский цензор с тридцатилетним стажем (знал лично), то заработавший генеральские погоны труженик армейских политотделов, то творец кандидатской диссертации «Роль партийных органов в развитии системы бытового обслуживания Узбекской ССР» (это я про Собчака, если кто не знает).

Вот и советские фантасты разделились на два отчаянно враждующих лагеря. До стрельбы боевыми патронами не доходило, мордобоев почти не случилось, но шум был превеликий, устный и печатный. На идейной основе, понятно. Одни, не щадя живота своего, защищали славянскую фантастику от «коварных жидомасонов». Другие, соответственно, под предводительством Натана Аркадьевича спасали советскую фантастику от «черносотенцев» и «антисемитов».

Я не зря старательно закавычил определения и эпитеты, которым те и эти щедро награждали друг друга. В действительности ничего подобного не было. Оба лагеря дрались за сладкие пряники — вот только пряников было мало, а жаждущих много. Проще говоря, издательства и журналы, печатавшие тогда фантастику, можно было по пальцам пересчитать, а частное книгоиздание делало лишь первые робкие шаги, пряников на всех не хватало. Вот и шла подковерная борьба за издательства и редакции — единственный источник материальных благ. Как легко догадаться, широкой общественности такие подробности сообщать не спешили и те, и эти — гораздо приятнее и выгоднее было представлять рыцарями в сверкающих доспехах, выходившими на бой

с чудищем жидомасонства (вариант «черносотенства»). В качестве пехоты к обеим сторонам валили оравы графоманов, представавших уже не бездарями, а святыми подвижниками борьбы с атисемитизмом (ну или еврейским засильем). Объективности ради нужно отметить, что явных графоманов в воинстве Натана Аркадьевича имелось гораздо меньше, чем в рядах его противников, — что общей картины не меняет.

Лично я всегда держался в стороне от этих баталлий, просто поддерживал приятельские отношения с представителями обеих диаспор. Всегда был склонен к независимости, а интеллигентских тусовок сторонился, говорил и писал, что хотел. Одно время состоял в переписке с Натаном Аркадьевичем, и его «ближние бояре» одно время всерьез собирались меня зачислить в «верные Натановичи». Но потом, когда за несколько лет до перестройки размежевание достигло чересчур уж высокого накала, от меня прямо-таки ультимативно потребовали разорвать всякие связи с «презренными черносотенцами», что я делать не стал, а потому был предан анафеме.

Ну а потом грянуло то, что Достоевский когда-то назвал «разгулом шелудивого либерализма». И я по живости характера замешался в самую взрывоопасную тему российского бытия — еврейский вопрос. Правда, не поддерживал две широко распространенные полярные точки зрения, а придерживался третьей, о которой одни вообще ничего не знают, а другие умышленно замалчивают.

Краткий ликбез для тех, кто не в теме. Пресловутая «всемирная еврейская солидарность» — очередной миф. Опровергающих это примеров множество, приведу лишь один, особенно яркий. В свое время

еврей Ротшильд, глава английской ветви известной банкирской династии, стремясь монопольно завладеть алмазными россыпями Южной Африки, разорил, вытеснил из бизнеса и довел до самоубийства своего основного конкурента Барнато. Нимало не заморачиваясь тем, что означенный Барнато был чистокровным английским евреем. Какая уж тут солидарность по пятому пункту...

И еще. Несколько столетий западноевропейские евреи в первую очередь германские ашкеназы (на идише «Ашкеназ» и означает «Германия»), весьма даже свысока поглядывали на евреев восточноевропейских, в которых видели «евреев второй свежести» и не соглашались признать родственниками. Открыто заявляли, что «восточники» не евреи по крови, а просто-напросто потомки перешедших некогда в иудаизм тюрок-хазар. Что классическая «еврейская внешность» восточников на деле есть классическая тюркская внешность. А позже без тени политкорректности называли потомков тюрок «жидами бердичевскими». На что «бердичевские» обижались страшно: ну вы же понимаете, гораздо престижнее считать себя потомками палестинских Соломона и Рахили, чем правнуками каких-нибудь Гулямсаида и Гюльчетай. Большая разница, верно?

Со временам открытый конфликт сгладился, но потихоньку тлеет и в наши дни. Не так уж и давно столкнулся с ним вплотную. Должен признаться, что одна из моих прабабушек — еврейка, что я никогда и не скрывал. И однажды не стал соглашаться на сомнительную сделку, предлагавшуюся знакомым. Большой был любитель впаривать за приличные деньги разное фуфло, которому красная цена пятак

в базарный день. Исчерпав все аргументы, персонаж в отчаянии воззвал:

— Саша, неужели два еврея не договорятся?!

Посмотрев на него сурово, я отрезал:

— Борис, ты не путай моих швейцарских евреев с твоими бердичевскими жидами!

Третий человек, присутствующий при нашей беседе, хохотал, как гиена, поскольку как раз и был чистокровным ашкеназом, а Борис — полукровкой с мамой из бердичевских. И родовитый ашкеназ относился к бердичевским... в общем, так, как относился. Ну а мне восьмушка еврейской крови позволяла говорить во всеуслышание вещи, за которые какого-нибудь стопроцентного славянина без соли сожрали бы.

Кровь была самая что ни на есть благородная. Прабабушка Мария Мозер происходила из старинной фамилии швейцарских евреев, еще веке в семнадцатом принявшей лютеранство — собственно, не евреи, а швейцарцы с еврейскими корнями. Приезд в Россию ее отца и дяди — история примечательная. Когда братовья Мозеры пришли в совершеннолетие, их батюшка, человек, безусловно ох какой неглупый, сказал примерно таковые слова: «Дети мои любезные! Вот вы и выросли, пора самим зарабатывать себе на хлеб со швейцарским сыром. Одна беда: отчизна наша, Швейцария, тесноватая и бедноватая, здесь толком не развернуться. А неподалеку, в ясную погоду вот так видно, простирается огромная Российская империя, предоставляющая человеку с головой и руками массу отличных возможностей. Так что вот вам денежки на дорогу — и в добрый путь!»

Это были времена Николая Первого, когда помимо прочего ударными темпами прокладывались

железные дороги. И братья Мозеры, ребята голо-
вастые, сделали неплохую карьеру в корпусе путей
сообщения, где собралась элита тогдашних русских
инженеров, вплоть до революции получавших самое
высокое в империи жалованье (простой кочегар, ска-
жем, получал больше армейского поручика). И стали
основателями настоящей династии инженеров-жел-
езнодорожников. И на одном из балов юная Мария
познакомилась с молодым инженером-путейцем, ро-
дом из белорусской шляхты — как легко догадаться,
ставшим моим прадедом.

Вот вы бы отказались от такой прабабушки? Пра-
вильно, я — тоже нет. Ну а учитывая происхождение
прабабушки, частенько позволял себе высказыва-
ния в духе вышеприведенного, продиктованные не
мифическим «антисемитизмом» (с такой-то родо-
словной?!), а исключительно, если хотите, родовой
спесью, той самой, что и у помянутого ашкеназа
(между прочим, полковника КГБ). В самом деле, ну
какая может быть еврейская солидарность, если пра-
дедушка Натана Аркадьевича то ли селедкой в Бер-
дичеве торговал, то ли старьёвщиком был в Жмерин-
ке, в любом случае перебивался с мацы на квас? В то
время как мой прадедушка Мозер ходил в красивом
мундире Корпуса путей сообщения — офицерский
чин, эполеты, треуголка с перьями, шпага на боку.
Народец попроще сдергивал шапки и почтительно
кланялся господину инженеру, а потом давал по
шее прадедушке Натана Аркадьича, обнаружив, что
селедка у него тухлая. Смешно и сравнивать, верно?
Есть от чего пестовать ту самую родовую спесь. Кото-
рая очень быстро привела к тому, что «бердичевские»
стали меня поносить как лютого антисемита. На об-
разованщину, не обремененную историческими зна-

ниями, тем более знаниями по истории еврейства, действовало, а мне самому было до лампочки.

(Не забуду встречу с читателями в Питере после выхода моей дилогии о Сталине. После ее окончания ко мне подошел гражданин очень интеллигентного вида и, явственно озираясь, вполголоса сообщил: сам он мое высказанное в данных книгах мнение вполне разделяет, но не решится сказать об этом вслух — съедят... И робко поинтересовался: не боюсь ли я, что после этих книг против меня «выступит русская интеллигенция»?)

С помощью богатств русского языка я ему сообщил, где, на каком предмете видел русскую интеллигенцию. Он смотрел завистливо...)

В общем, перестройка, однобокая гласность... Как и полагается русскому интеллигенту, Натан Аркадьевич не остался в стороне. Не ушел в горлопанство с головой, как поступил его младший братец-графоман, которого старший по доброте душевной объявил своим соавтором, но довольно громогласно критиковал как и проклятых большевиков, так и кровавую сталинскую гэбню.

Была в этом некая дурная пикантность. Как известно, чуть ли не самыми оголтелыми критиками «большевистских зверств» и «палачества НКВД» был народец специфический — вроде сынка кровавого командарма Якира, бывшего сотрудника НКВД Льва Разгона (зятя палача Бокия, на минуточку), Булата Окуджавы, племянника «старого большевика», поставленного к стенке за махровый национализм, а то и старой большевички Евгении Гинзбург, немало потрудившейся для становления советской власти. Впрочем, ничего удивительного, если вспомнить, что главными могильщиками СССР стали бывший

первый секретарь обкома Ельцин и бывший член Политбюро Яковлев, та же картина наблюдалась и с иными президентами независимых бантустанов: в Грузии — бывший член Политбюро Шеварднадзе, на Украине — бывший секретарь тамошнего ЦК по идеологии Кравчук, в Литве — бывший стукач КГБ Ландсбергис. (Впрочем, то же касается и кое-кого за пределами союза нерушимого республик свободных — Ангела Меркель в молодости была комсомольской функционершей в ГДР, а о том, что лидер «Солидарности» и первый президент новой Речи Посполитой Лех Валенса прилежно постукивал в ГБ, не писал в Польше только ленивый...)

Натану свет Аркадьевичу, как и многим, следовало бы вспомнить классические строки крыловской басни: «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» — но он, как многие, страдал избирательным выпадением памяти...

Батюшка его отнюдь не походил на образ «угнетавшегося царским режимом еврея» — хотя бы потому, что не селедкой в Бердичеве торговал, а выучился до революции на искусствоведа. Однако в революцию кинулся со всем пылом, как и некоторые исконно русские столбовые дворяне. Комиссарил в Гражданскую, настолько лихо, что в конце концов удостоился двух ромбов на петлицы — звание, позже соответствующее генерал-лейтенанту. В коллективизацию всплыл в Сибири начальником политотдела МТС, то есть машинно-тракторной станции. Станция эта отправляла колхозам для полевых работ всякую сельскохозяйственную технику, остававшуюся собственностью Советского государства. А политотделы были этакий помесью парткомов с ОГПУ — еще один надсмотрщик с кнутом и маузером на пути

в светлое будущее. Крестьяне как-то не горели желанием по этому светлomu пути браво маршировать, так что без кнута и маузера было не обойтись.

Два любопытных факта из рабочих будней таких начальников, о чем свидетельствуют прекрасно сохранившиеся документы эпохи.

1933 год. В Восточно-Казахстанской области (территория тогдашней Казахской АССР, еще не советской республики, входившей в состав РСФСР) милиция арестовала отца и сына Фоминых за кражу колхозной коровы и некоего Еременко, как туманно указано, «за ранее совершенные преступления» — надо полагать, не особенно тяжелые, если он до последнего времени пребывал на свободе. Кажется, речь тоже шла о краже какого-то колхозного имущества, в отличие от коровы, неодушевленного.

«Кулаком» в документах значится один Еременко, а Фомины проходят как «середняки», к которым отношение было мягче, чем к кулакам. Однако местный начальник политотдела МТС Морщинин явно люто ненавидел всех троих — возможно, и сами в колхоз не торопились, и других отговаривали. Морщинин распорядился отправить арестованных в их родное село, уже ставшее к тому времени колхозом «Заветы Ленина». Согласно писаным регламентам, он не имел никакого права отдавать приказы милиции, но она тем не менее приказ выполнила — зная, что за страшненькую контору возглавляет товарищ Морщинин. Означенный выехал следом и преспокойно предложил председателю правления колхоза созвать общее собрание и... убить на нем трех выше-названных. Председатель без малейшего удивления собрание созвал. Всех троих без дискуссий убили... Чем под руку подвернулось.

Необходимо отметить: это не имело ничего общего с «большевистским террором», поскольку было не большевиками изобретено, а представляло собой старый крестьянский обычай, появившийся в те времена, когда большевиков и в проекте не было. Уличенных в преступлениях односельчан (особенно конюшников) не в полицию тащили, а убивали на сельском сходе, зорко следя, чтобы все без исключения оказались повязаны круговой порукой: или кольями били, или за веревки тянули. Смотря как убивали.

В царские времена большинство таких случаев (особенно в Сибири) оставалось безнаказанным из-за той самой круговой поруки, не позволявшей определить конкретных виновников. «Всем миром убивали» — и точка, всю деревню в тюрьму не посадишь и в каторгу не погонишь.

Однако для 1933 года старинный самосуд был уже перехлестом. Какие-никакие писанные законы существовали. Кража коровы и другого колхозного имущества — безусловно уголовное преступление, однако никак не заслуживающее смерти, тем более без суда и следствия. Это уже, как хотите, средневековье. Именно потому, что случившееся было вопиющим беззаконием, вмешался заместитель прокурора СССР Вышинский. В хрущевские времена на него было вылитो немало грязи — меж тем Вышинский, еще до революции закончивший юридический факультет Киевского университета; отличался как раз строжайшим надзором за соблюдением законов. Он предложил привлечь прыткого Морщинина к уголовной ответственности.

Увы, идеология в который раз оказалась выше законов... Быстро выяснилось, что и секретарь райкома партии, и секретарь обкома отнеслись к само-

суду как к милой шалости заслуженного партийца. Более того, поступила информация, что один из руководящих работников крайкома, собрав совещание начальников политотделов, как раз и дал им установку на самосуды...

Дело спустили на тормозах уже по решению высшей партийной инстанции — Политбюро. Судьба партийных боссов мне неизвестна, но очень хочется верить, что ни секретарь райкома Александров, ни секретарь обкома Супрун, ни анонимный «руководящий работник крайкома» тридцать седьмого года не пережили. Да, все ограничилось тем, что первый секретарь Казахского крайкома Мирзоян вызвал Морщинуна и Александрова и «разъяснил им недопустимость самосудов» — надо полагать, по-отечески ласково, не стуча кулаком по столу. Мирзояна поставили к стенке уже при Берии, в 1939 г., а в те времена так просто не расстреливали...

Второй случай гораздо более безобидный. В Белоруссии начальник политотдела МТС Морозов за какие-то упущения по службе был с должности уволен, но не стал пачкать рук общественно-полезным трудом. Не теряя время, организовал группу товарищей, а проще говоря шайку, и занялся ночными грабежами. Будучи изловлен, отделался, в общем, пустяками — годом принудительных работ. Что он там наворотил в прежней должности, неизвестно, но выполнявшие его насквозь незаконные указания 4 председателя сельсовета и 4 председателя колхозов позже, когда стали наводить порядок, были осуждены на 8—10 лет каждый...

В общем, читателю самому предоставляется судить, что за публика собралась в политотделах и какими методами они добивались того, что крестьяне

рядами и колоннами, добровольно и с песней шли в колхозы. Из записки в Комитет партийного контроля при ЦК ВКП (б): «Многие дела об избииении колхозников (подвешивание за ноги, привязывание к передку телеги, оставление на сутки привязанными к скамейке, в канцелярии колхоза и т.д.) были смазаны». В тридцать седьмом году массово расстреливали и сажали как раз виновников всех этих безобразий. Кому-нибудь их жалко?

И в дальнейшем Натан-старший бдительно следил за моральной и идеологической чистотой советских людей — был заведующим отделом культуры одного из обкомов, служил в цензорах. По моему глубокому убеждению, человечку с такой биографией самое место у расстрельной стенки вместе с прочей «ленинской гвардией». Но в тридцать седьмом комиссару-политотделу-обкомовцу-цензору дали, можно сказать, легонький подзатыльник: всего-навсего исключили из партии и вчистую уволили из цензоров. Последние четыре года Натан-старший вел прямо-таки вегетарианский образ жизни: тихонько трудился скромным научным сотрудником одного из ленинградских музеев — дореволюционное образование пригодились. Подозреваю, наедине с зеркалом ругательски ругал злодея Сталина, порушившего столь блестящую карьеру старого большевика и ему подобных: два ромба в петлицах — это вам не хухры-мухры... Умер в эвакуации.

Теперь о биографии самого Натана Аркадьевича, далеко не такой бурной, как у его папеньки, но весьма интересной...

На фронты Отечественной юноша, даром что был здоров, как лось, отчего-то не попал — хотя родился в 1921-м и в военном билете имел штамп «Годен без

ограничений». Для сравнения: его ровесник Юрий Никулин надел солдатскую шинель еще в тридцать девятом. А мой отец поздней осенью сорок первого, восемнадцатилетним, оказался под Москвой в составе одного из сибирских полков. Натан Аркадьевич уехал в тыл, в военное училище — ну так вот человеку свезло. Почти весь выпуск его курса poleg во время одного из крупных сражений, когда немцев нужно было остановить любой ценой. Но нашего героя везение не оставило и здесь — он попал в военный институт иностранных языков (учебное заведение, плотно опекавшееся госбезопасностью), где прилежно изучил японский язык, что, безотнositельно ко всему, является нешуточным достижением. Овладел японской мовою так, что преподавал оную в школе военных переводчиков в небольшом, но старинном сибирском городе Канске, неподалеку от Красноярска, — о которой каждая собака знала, что эта школа относится к госбезопасности. Потом почти десять лет служил на Дальнем Востоке, впоследствии деликатно именуя место службы военной контрразведкой — с упором на слово «военная». Чем он там занимался, в точности неизвестно — вроде бы радиоперехватом. Иные биографы из восторженных писали еще, что Натан Аркадьевич еще и перехватывал в открытом море суденышки незаконно проникших в наши воды японских браконьеров. Вот этому верится плохо: во-первых, таким перехватом занималась не сухопутная контрразведка, а военные моряки. Во-вторых, такие задания обычно поручались морякам, не дотянувшим до офицерских погон. И наконец, очень быстро после того, как Натан Аркадьевич обосновался на Дальнем Востоке, Япония была разгромлена сентябрьским блицкригом сорок

пятого года. После чего японские браконьеры уже не шастали в соседские территориальные воды, а из оккупированной американцами Японии уже не велось радиопередач, способных заинтересовать советскую контрразведку (я имею в виду передач на японском). Так что наш герой, прослуживший там до середины пятидесятых, явно занимался чем-то другим, и мы, очень может быть, уже никогда не узнаем чем — иные папки спецслужб, помеченные грифом «хранить вечно», так и остаются секретными, сколько бы лет ни прошло и какие бы времена гласности ни стояли на дворе (и к этому нужно отнестись с полным пониманием).

Демобилизовавшись, Натан Аркадьевич стал писать фантастику — и быстро стал, без преувеличений, одним из классиков жанра. Причем в его ближайшем окружении насчитывалось немало народу, так или иначе связанного опять-таки с госбезопасностью. Его многолетняя редакторша номер один — дочка действующего генерала КГБ. В то самое время, когда «кровавая гэбня» якобы преследовала в СССР Ната-на Аркадьевича так, что он сушил сухари и держал в шкафу чемоданчик с бельем, его книги успешно продвигал в США тамошним издателям не кто иной, как полковник внешней разведки КГБ Евгений Григорович, резидент под безобидным прикрытием. Впоследствии и об этом подробно рассказавший в интереснейших мемуарах «Да, я там работал».

С учетом вышеизложенного легко понять, почему я очень отрицательно относился к тому, что Натан Аркадьевич громогласно нес в массы в перестройку. Прошу понять меня правильно. Речь не о чисто антикоммунистических высказываниях. Но в них классик был совершенно искренен, в отличие

от политических проституток, поминавшихся мною выше. Здесь все по-человечески понятно: писатель, некогда убежденный коммунист, со временем перестал таковым быть, видя трагическое несоответствие идей с реальностью, с личностями распространителей этих идей (с перестройкой быстренько переобувшихся в прыжке). Такое случалось не так уж редко. Я и сам в юности свято верил, что совсем скоро рухнет мир капитализма и на всей планете воцарится коммунистическое общество. Причем верил не благодаря усилиям коммунистических пропагандистов — я и в комсомол-то не был принят как хулиган и двоечник, а молодость провел в рабочей среде, где партийная идеология, мягко скажем, популярностью не пользовалась. Верил я в первую очередь оттого, что с детства любимым чтением были книги Натана Аркадьевича о светлом коммунистическом будущем, в котором яростно хотелось жить, книги о светлом Завтра, где возвышается золотая двадцатиметровая статуя Ленина (в перестройку Натан Аркадьевич уверял, что эту статую его заставил вписать злобный коммуняка-редактор, но, может быть, и лукавил).

Категорическое неприятие вызывало другое — то, как Натан Аркадьевич старательно отмежевывался от былой службы в госбезопасности и отрицал малейшую с ней связь. Причем по непонятным мне до сих пор причинам классик так никогда и не говорил, что служил в армии. Возможно, оттого, что армейские архивы были гораздо более открытыми и кто-то въедливый мог до них добраться. Повторял настойчиво: я работал в МВД, МВД, МВД! А вот в это верится плохо. Хотя бы потому, что Натан Аркадьевич не скрывал: в 1946 году он как переводчик принимал

участие в допросах пленных японских генералов, которых готовили к Токийскому процессу (процесс, аналогичный Нюрнбергскому, только не над немецкими военными преступниками, а над японскими). При чем здесь МВД? Оно тогда занималось гораздо более незначительными делами — уголовный розыск, регулировка уличного движения, выдача паспортов. Допросами японских генералов (как и радиоперехватами на японском) занималась именно госбезопасность...

Совершенно, опять-таки чисто по-человечески, непонятно, почему Натан Аркадьевич так старательно бежал от слова «госбезопасность». В конце концов, он не ставил к стенке «контру», не загонял крестьян в колхозы, не распространял красную пропаганду из обкомовского кресла и не резал цензорскими ножницами «неправильные» рукописи — всем этим печально прославился его отец.

Видимо, все дело во всеобщем состоянии умов. Для советской интеллигенции, тогда еще многочисленной и горластой, не было пугала страшнее, чем слово «госбезопасность» — олицетворение вселенского зла. Слова этого интеллигенция страшилась больше, чем белой горячки и триппера — к обоим этим недугам интеллигенты всегда относились с восхитительной небрежностью. Сейчас в это трудно верится, но тогда громогласно призывали не только распустить «пятерку», 5-е управление КГБ, но вообще разогнать разведку и контрразведку. Аргумент выдвигался один-единственный: это кто будет шпионить против новой демократической России? При этом то ли умышленно упускалось из виду, что США шпионили за всеми своими союзниками, а страны НАТО друг за другом. Вот и Натан Аркадь-

евич, плоть от плоти расейской интеллигенции, не мог выломиться из общего потока.

(Вообще-то обратные примеры известны. Самый яркий — Андрей Вознесенский. Хотя его ближайшее окружение, включая собственную супругу, состояло из перестроечной «свободомыслящей» интеллигенции, в 1993 году Андрей Андреич категорически отказался подписать омерзительное по своему холуйству письмо 93-х «деятелей культуры», поздравлявших Ельцина с расстрелом Белого дома. Как ни плясали вокруг, как ни уговаривали, не подписал. Для этого нужно было иметь твердый нравственный стержень, какого не нашлось у бывшего офицера и контрразведчика Натана Аркадьевича...)

Ну а теперь — конец преамбулам. Как уже говорилось, я набрал номер Натана Аркадьевича, будучи пьян, но умеренно. И вполне вежливо, без единого хамского, а тем более матерного слова, попросил внести ясность: украшал он своей персоной ряды МВД или все же госбезопасности? Жена у меня родом из Канска, бывал я там и про школу военных переводчиков малость наслышан...

Классик пробурчал парочку сердитых фраз и повесил трубку. Перезванивать я не стал — коньяк на столе мог выдохнуться.

Вернувшись домой, я эту историю выкинул из головы по причине ее полной малозначимости. Ровно на неделю. Через неделю позвонил знакомый из Новосибирского Союза писателей, как раз и принимавший нас тогда в гостях, и с нешуточным любопытством поинтересовался:

— Ты кому лубянскому в Москве ухитрился на хвост наступить, хулиган телефонный?

Немая сцена.????? Как сейчас модно говорить — вот с этого места поподробнее!

Что оказалось. Дня через три после нашего отъезда к знакомому появился персонаж, которого там давненько не видели, — официальный куратор Союза писателей от КГБ, прекрасно известный всем и каждому, поскольку нисколько не конспирировался, разве что ходил в штатском. Мужик, в общем, по отзывам, был невредный: и в самые махровые советские времена клыками не щелкал, на диссидентов не охотился (откуда они во глубине сибирских руд?), вел рутинные разговоры «за жизнь» и, когда ему со всей широтой души наливали стаканчик какого-нибудь национального писательского напитка, не отказывался. Да вдобавок, как сплетничали, поддерживал абсолютно неслужебные отношения с молодой поэтессой, талантливой, красивой и довольно ветреной (у поэтесс такое сочетание встречается сплошь и рядом). Так что отношение к нему было самое благодушное, отродясь не слышно было, чтобы он по своей линии подвел кого-то под неприятности. Стукачей в Союзе наверняка имел, но такова уж се ля ви. Очень многие стучали не за деньги и не блага, не из страха, а бескорыстно, по убеждению (сам с такими сталкивался и относился к ним философски).

Другое дело, что с разгулом перестройки куратор появлялся в Союзе писателей раз в сто лет и часто сводил визиты к распитию тех самых национальных напитков. Однажды один обнаглевший от размаха гласности письменник с хохотком заявил:

— Финогеныч (назовем его так), если так дальше пойдет, тебя на площади повесют как врага перестройки!

Финогеныч лишь вымученно улыбнулся и попросил налить еще...

Вот и теперь он с ходу заверил моего знакомого, что пришел в гости не волею местного начальства, а выполняя «указивку» Москвы. Москва, понимаете ли, приказала собрать все сведения об этом самом звонке Натану Аркадьевичу. Вот ему и поручили. Напишет бумажку, которая никаких последствий иметь не будет, вот и все.

Ну, мой знакомый ему и дал полную раскладку — благо я эту историю тогда же не стал скрывать и Натану Аркадьевичу представился по всей форме. Куратор как раз это выражение и употребил: «Ваш парень явно наступил в Москве на хвост кому-то лубянскому». И с видимым облегчением распрощался, не употребив даже национального писательского напитка... (В фантастике он не разбирался совершенно, предпочитал иностранные детективы, и чем славен Натан Аркадьевич, толком не знал.)

Я сел и подумал мысль. В то, что это местная инициатива, не верилось совершенно. Да и московскую главную контору «пятерки» такой пустяк по собственной инициативе заинтересовать никак не мог. Надо знать реалии того года. В те буйные времена «пятерка» больше всего напоминала бледнолицых персонажей очередного голливудского вестерна, которые уныло сидят в крохотном бревенчатом форте, а вокруг носится немаленькая ватага краснокожих, во всю глотку обещая снять с осажденных скальпы. Вот примерно так все и выглядело — разве что перестройщики не доводили кровожадность до абсурда и не требовали снять с «пятерочки» скальпы или развесить их на фонарях.

А главное, даже в эпоху тотального всевластия «пятерки» сей телефонный разговор, к бабке не хо-

ди, обошелся бы для меня без всяких последствий. Что, собственно, произошло? Никаких диссидентских выпадов я не допускал, ничего антисоветского или антикоммунистического не говорил, за государственными тайнами не охотился. Всего-навсего на манер Остапа Бендера спросил: «Вы в каком полку служили?»

А потому родилась самая убедительная версия. Раздосадованный моим звонком Натан Аркадьевич звякнул доброму знакомому с Лубянки и пожаловался, что его достает по телефону известный «враг перестройки», «черносотенец» и «красно-коричневый» (тогда иначе меня и не называла свита классика, которую правильнее будет называть кодлой). Знакомый вяло трепыхнулся — а что еще он мог сделать в тех непростых исторических условиях, когда КГБ категорически не климатило? Даже если они по старой памяти прослушивали телефоны Союза писателей, о местной инициативе, да и инициативе Лубянки, я уверен, речь не шла. Именно что вялая реакция на сигнал...

А впрочем, я сходил за консультацией к знакомому старичку. Преинтереснейший был старичок. В НКВД пришел служить еще в 1936 году, будучи двадцати одного годочка от роду, за несколько месяцев до ареста Ягоды (к слову, обладателя самой большой в СССР коллекции всевозможной порнографии). И так уж дедушке свезло, что его миновали стороной все бури, пронесшиеся над НКВД—МГБ, ни под бериевские чистки органов не угодил, ни под хрущевские, благополучно ушел в отставку в невеликом чине, но с почетом. Мы никогда об этом не говорили, но какая-то кровь на нем безусловно была. Лучше всего старичка ха-

рактеризует эпизод из его мемуаров, напечатанных с моей подачи...

История такая. В 37-м он уже имел в подчинении пару-тройку сотрудников помладше. И его подчиненная, совсем еще молодая, но уже с двумя кубиками в петлицах, по уши влюбилась в некоего типа с точки зрения карательных органов крайне подозрительного: то ли с троцкистами хороводился, то ли хотел отравить в зоопарке китайского медведя панду, чтобы порушить китайско-советскую дружбу... пардон, это уже обвинение из более позднего времени. В общем, отношения перешли в постельную стадию (как говорил персонаж Бельмондо в известной кинокомедии: «Секс — штука неуправляемая»).

Дедушка (ну, тогда еще молодой дубок) призвал к себе подчиненную и велел немедленно порвать всякие отношения с крайне подозрительным субъектом. Девчонка стала ерепениться. Тогда наш герой ей заявил попросту:

— Я тебя сейчас сапогами буду гонять по всему кабинету, пока пятый угол не найдешь!

Это не я придумал, это он сам так написал в мемуаре. И бесхитростно добавил: после этого теплого дружеского увещевания (снова его собственные слова) легкомысленная сотрудница взялась за ум и, надо полагать, впредь пообещала спать исключительно с идейно выдержанными товарищами). На мой вопрос, что случилось с ее незадачливым любовником, дедушка туманно улыбнулся и обронил:

— Сложное было время, — и поторопился добавить: — Но все перегибы осуждены партией!

Прелюбопытный был народ, эти старые орлы и соколы госбезопасности!

Отвлекусь на другую интересную историю, случившуюся у нас в лихие девяностые. Иные бандюганы, не заморачиваясь разработкой сложных планов присвоения чужой собственности, в день выплаты пенсии подстерегали у почтовых отделений стариков и старушек и отбирали у них скудную денежку. Как-то двое таких «бритых ежиков» взяли на abordаж одного такого старичка, щупленького, с внушительной коллекцией орденских планок на потрепанном пиджачке. И без всякой дипломатии заявили:

— Давай деньги, старый хрен!

У этой сцены оказалось несколько свидетелей, благоразумно державшихся поодаль. Они так и не поняли, что произошло. Хлипкий дедушка (как выяснилось в милиции, семидесяти двух годочков) что-то молниеносно сделал — и оба бычка легли на грязный асфальт и в сознание приходиться отказывались. В случайно оказавшийся рядом «луноход» их так и погрузили бессознательными. Милиционеры, узнав в чем дело, оторопело спросили:

— Это где ж ты служил, дедушка?

Дедушка кротко ответил:

— В Смерше, сыночки, в Смерше...

Я своими глазами этого не видел. Но как-то мы с тем самым воспитателем легкомысленной девицы завели разговор о рукопашной борьбе сталинских времен. Мне было двадцать девять — не амбал, но по-молодому крепок. Старичку — семьдесят пять, сущий божий одуванчик. Но я так и не понял, что за приемом он меня швырнул на диван из стоячего положения — трезвого и готового к неожиданностям (он предупредил, чтобы я был готов), в молодости прошедшего неплохую школу драк на танцах и в темных переулках... Это было как молния. Как хотите,

а я этих людей уважаю, несмотря на угадывавшееся за спиной бывшее зверство. Они были другие, они никого не жалели, но всегда были готовы к тому, что и их никто жалеть не будет...

Вот к этому интересному старичку я и отправился за консультацией по поводу короткого телефонного разговора с классиком и его неожиданных последствий. Старик попросил рассказать подробно офицерскую биографию Натана Аркадьевича, думал недолго, а потом сказал, что все наверняка было так, как мне представляется. Еще подумал и добавил с неописуемым выражением на лице, словно в прошлое заглядывал без посредства машины времени:

— Распустились вы нынче, молодые, за языком совершенно не следите. В старые времена б тебя...

Лицо у него было такое, что улыбаться как-то не тянуло...

Это он перегнул палку, сгустил краски: в «старые времена», да и в более поздние такой разговор не мог бы состояться — никому не приходило в голову стыдиться своей официальной службы по той или иной линии госбезопасности, тем более прилюдно такую отрицать.

Такая вот история. Для меня, разумеется, она не имела ровным счетом никаких последствий: и «пятерка» агонизировала, и прегрешений за мной не числилось... К Натану Аркадьевичу я ни тогда, ни потом не испытывал ни малейшей неприязни: человек был воспитан временем, а время было суровое и неласковое. Включились старые рефлексy — бывает... Моим любимым чтением до сих пор остаются книги Натана Аркадьевича «Суббота кончается в понедельник» и «Легко быть дьяволом». Скорее уж мне за старика-классика чуточку обидно, стыдно и неловко:

не удержался, примкнул к горластым перестройщикам, с пеной у рта нападавшим на контору, когда это стало абсолютно безопасно и даже выгодно. Полная противоположность Вознесенскому. Что бы там ни говорили, яблочко от яблони недалеко падает. Отец Вознесенского — сугубый технарь сталинского времени, ворочал немалыми делами, награжден орденами и не подвергнут даже тени репрессий. Отец Натана Аркадьича... Ну вы знаете. Правда, должен сказать: Натана Аркадьевича нужно уважать еще и за то, что он, в противоположность многим, все же не лил помой на советское прошлое и не кричал о «злодеях-комиссарах», которые стреляли по всему, что шевелится, да вдобавок вели в кабинет чьих-то там девочек, как пелось в известной песне-завывании известного некогда барда, безосновательно выдававшего себя за потомка польских шляхтичей (кстати, по отдельным кабинетам царских ресторанов болталась разновидность женского пола, которых называют вовсе не девочками, а гораздо более короче и непечатнее...).

Вот такими были мои встречи с КГБ. Начавшееся через несколько лет дружеское общение с ФСБ носило уже совершенно другой характер, но это уже другая история...

СОДЕРЖАНИЕ

ГУЛЛИВЕР-1944.....	7
АФРИКАНСКИЙ ЗВЕРЬ НОСОРОГ.....	20
ОГОНЬКИ НА ПОЛЯНЕ.....	36
ЗЛЫЕ ЧУДЕСА.....	42
ТЕРМИНАТОР В ТЕРЕМЕ.....	133
ЗДЕСЬ ВСЕ ИНАЧЕ, ИНАЧЕ, ИНАЧЕ.....	170
ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ	191
О ДАЛЬНИХ ЗВЕЗДАХ, ЛЮБВИ И СНЕЖНОЙ ЕЛИ... ..	196
ОН ЖЕ — НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕНИЙ.....	201
К ВОПРОСУ О КОНТАКТАХ	208
МОИ ВСТРЕЧИ С КГБ	212

Литературно-художественное издание

БУШКОВ. НЕПОЗНАННОЕ

Бушков Александр Александрович

ЗЛЫЕ ЧУДЕСА

Ответственный редактор **А. Дышев**
Художественный редактор **Д. Сазонов**
Технический редактор **Н. Духанина**
Компьютерная верстка **К. Смолин**
Корректор **М. Виноградова**

Страна происхождения: Российская Федерация

Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, эт. 20, каб. 2013. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндруші: «Издательство «Эксмо» ЖШҚ

123308, Ресей, Мәскеу қаласы, Зорге көшесі, 1-үй, 1-құрылыс, 20 қабат, 2013-қаб.

Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz



Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасына импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Дистрибьютор және Қазақстан Республикасында өнімге шағымдар
қабылдау жөніндегі өкіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы қ., Домбровский көш., 3 «а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо».

www.eksmo.ru/certification

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау
туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://eksmo.ru/certification/>

Произведено в Российской Федерации

Ресей Федерациясында өндірілген

Сертификаттауға жатпайды

Дата изготовления / Подписано в печать 11.12.2023. Формат 70х100¹/₃₂.

Гарнитура «Newton». Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,67.

Тираж 3000 экз. Заказ 0025/24.

Отпечатано в Публичном акционерном обществе

«Можайский полиграфический комбинат»

143200, Россия, г. Можайск, ул. Мира, 93.

www.oaomprk.ru, тел.: (49638) 20-685